

Kirchmair, Fritz: Lager Asbest: von der Schulbank
zum Militar, Landser vor und bis Mogilew, Kriegsgefangen
in Sibirien / Fritz Kirchmair. – Hall in Tirol: Berenkamp, 1998
ISBN 3-85093-085-8

ФРИТЦ КИРХМАЙР

ЛАГЕРЬ АСБЕСТ

(ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ)

Асбест

Было начало второй половины дня. Поезд остановился, и до меня донесся совсем слабый крик охраны. Задвижка дверей вагона открылась со стуком, и я услышал уже известные слова: "Dawai! Dawai! Dawai! ".

Я не мог встать на ноги, лишь почувствовал, как на меня наступили деревянным ботинком; затем потащили и бросили вниз. Едва ощутил твердость дорожного щебня и снова потерял сознание. Ясно вспоминаю, что кто-то плеснул мне в лицо водой. Я находился рядом с теми, которые лежали на траве, недалеко от дороги. Русские и военнопленные жужжали вокруг меня. Я видел, как откладывали мертвецов и отделяли ходячих от лежачих. В этом состоянии я еще не знал, что мы находимся в Асбесте. Я закрыл глаза. Не было уверенности, что наша транспортировка закончилась. Попытка поставить меня на ноги не удалась. Другой военнопленный обратился ко мне, и в его словах услышал я грубое сочувствие. Он говорил мне: "Эти выблядки! Что они только сделали с вами? Ты можешь встать?". Когда он увидел, что я слаб, произнес: "Держись! Тебя везут в лагерь! Держись!". Прошло, пожалуй, часа два, до того времени, когда подъехали грузовые автомашины.

Меня погрузили в кузов после того, как дали воды и таблетку. Затем ожидание перед большими воротами лагеря. Русский часовой кричал с вышки вниз: "Гитлер капут! Войне капут!". Затем он изобразил покушение на Гитлера, из чего, по его мнению, следовало, что война заканчивается. То, что мятеж офицеров был неудачным, кажется, еще не было известно. Я, по крайней мере, прилива радости не ощутил.

Грузовой автомобиль ехал вдоль лагерной улицы, остановившись возле длинного барака. Я различил большой красный крест с зеленым полумесяцем и надпись, которую не мог прочитать. Таблетка подействовала, так как я ощутил в себе бодрость. Чьи-то руки положили меня на носилки и занесли в помещение. Я видел только деревянный стол, так как был не было сил приподняться и осмотреться. На этот раз ожидание продолжалось не так долго. Когда я попал в ряд, то увидел перед собой русскую, которая стянула с меня грязную гимнастерку и рубашку, прослушала меня, посветила в глаза и измерила пульс. То, что одетая в белое диктовала писарю, я не понимал. Понял только, что после моего имени писарь поставил "собачий знак". Потом другой работник обыскал мои одичавшие волосы на голове, под мышками и на груди на предмет наличия вшей. Укол шприца в предплечье – и контуры быстро расплылись вокруг меня, я провалился в глубокий сон. Проснулся только на следующий день. Я был удивлен тем, что смог подняться. Когда встал на ноги, двое, поддерживающих меня, повели длинным коридором в моечное помещение, и, при их помощи, я стоял под душем. Это сделало меня совершенно чистым. Великолепно, я снова мог стоять и сам пройти половину пути, даже если и взял в помощники стену. То, что я был гол и носил лишь связанные и одетые на шею деревянные ботинки, осознал постепенно. Позднее узнал, что все, что мы носили на себе, было брошено в кучу и сожжено.

Следующей станцией был барак, стоящий поперек. Вместе с другим товарищем по несчастью, какими нас создал бог, был посажен на табуретку и ждал, до тех пор, пока русская с ножницами и бритвой не подошла ко мне. Она сунула в руку маленький кусочек коричневого, сального мыла и дала понять, что я должен обмакнуть в тазе с водой и намылиться. Я начал с бороды, однако, она, размахивая ножницами, закричала "Njet! Njet! " и показала на мои волосы на голове, спутанные и свисавшие с затылка. Треск, треск - щипали ножницы, и мое великолепие волос, включая вшей, упало на землю. О нормальном намыливании речь не могла идти, это была больше пачкотня. Затем русская - я думаю ей было лет 30 -35 - начала бритьё головы. Это не было ласково! Либо бритва была уже тупая, либо зазубренная. Чувство обритого черепа было ново для меня; когда я провел по нему рукой, то ощутил кровавые дорожки. Тяжело было вытерпеть бритьё под мышками, даже если она делала это осторожно. Она дергала мои волосы на груди, смеялась и говорила: " Choroscho! Хороший мужик! " Душное оцепенение охватило меня, когда дело дошло до моих волос стыда – меньше от стеснения, больше от страха перед тупой бритвой. Русская бесцеремонно потянула мой пенис вниз и брила так долго, до тех пор пока ни стало не одного волоса. Моё "Spasibo" она получила со смехом, который меня сильно задел.

Мой следующий путь - к вещевому складу. Передо мной длинная очередь ждущих - гладко выбритые черепа, раздрыганные спины, опавшие задницы - какой вид! В комнату заходило трое пленных. Выбор размеров был не велик. Нужно просто взять одежду из стопки, как это поступило: я получил изношенную, зеленую рубашку и кальсоны длиной до колен, стеганные штаны, которые были слишком длинны мне, и стеганную телогрейку - все списанное из состава русской армейской одежды. Моя телогрейка выглядела собачьей подстилкой: дырявая, рукав висел только на нитке. Вопросы или жалобы были бессмысленны. Я смог поменяться штанами с соседом, так как полученные им были слишком коротки. Две портянки, которые бросили мне, уже давно не видели никакой воды. Под открытым небом осмотрел полученное. Веревкой, которую получил в придачу, завязал штаны; таким образом я "оделся", и выглядел уже как правильный "Wojeppolennyi" (военнопленный)! Другие несли фуражки с вмятинами, я не получил ничего. То, что я не пошел еще раз на склад, чтобы потребовать головной убор – это упущение, которое будет иметь еще злые последствия! В новом обличии явился назад в больничное отделение. Для меня начался двухнедельный карантин.

Я не был единственным в больничном отделении. Мы получали три раза в день подслащенный и затем снова горький "Tschai" (чай), утром 300 г сырого хлеба - точно взвешенного на весь день - и литр водянистого супа с капустой. Искать в нем блестки жира было бесполезно. В полдень рыбный суп, при воспоминании о котором меня и сегодня охватывает ужас; черная похлебка с вареными рыбьими головами, и плавающими сверху блеклыми страшными рыбьими глазами - "Rybasupp", которым я только, с грубым отвращением, притуплял голод. После второго стояния в очереди мы получали две деревянных ложки Sojakascha (соя-каша) и (каждый второй день) чайную ложку коричневого сахара; вечером давали пол-литра теплого "Tschai". Я должен признаться, мое "время отдыха" состояло только из ожидания - от одной выдачи еды до другой. Стояние в очереди стало привычкой.

Русская, которая приносила еду, была даже любезна и сжалилась над моей "Kofta-walenok" ("кофта-валенок" - телогрейкой), пришила на самые большие дыры заплаты, а рукав получил снова поддержку. Пуговицы отсутствовали и она подарила мне толстую веревку. Даже если она встречалась случайно, всегда относилась ко мне с доброй душой. Каждый второй день перед обходом врача я взвешивался (мой "первый вес" составлял 45 кг). Я показывал язык, и врач внимательно меня прослушивала, не кашляю ли я и не приостанавливаю ли выдыхание. Эта процедура повторялась неоднократно. Только когда я стал иметь 50 кг веса, был отпущен как "здоровый".

Впервые я стал причастен к лагерной службе. Получил спальное место в длинном бараке, где располагалось сто человек. Это уже была не больница, а жилье для большого количества людей с двухъярусными нарами. По два человека на нарах! В широком центральном коридоре стояли грубо-сколоченные столы и скамейки. Продовольственное снабжение было уже "пленно-умеренное", скудное и однообразное. Тотчас же после моего «новоселья» я получил, спаянную из банок из-под американских мясных консервов, жестяную миску и обглоданную, деревянную Loschka (ложку), которая видела и лучшие времена.

Это было теплым вечером перед переключкой. Я сидел на березовой лавке и был в своих мыслях. Мой Starschina (старшина) барака, старый пленник, познавший лагерные порядки, подсел ко мне. После молчаливой паузы зашел разговор, который крепко мне запомнился: "Ты из новых? Как у тебя идут дела? Скоро время карантина закончится, в течение ближайших дней ты отправишься в трудовой лагерь. Не спрашивай в который. Это больше игра случая!".

"Я еще не чувствую себя трудоспособным; колени дают о себе знать!". После минуты молчания он сказал, положив руку на плечо: "Я даю тебе хороший совет, прежде чем ты сделаешь глупость! Оставь расспрашивающих тебя, даже приятелей, о которых ты, по-видимому, хорошо думаешь. Именно они - самые плохие "слуги русских", купленные шпионы, хотят закрасться в твоё доверие, чтобы тебя продать! Что ты пережил – держи в себе!".

"Спасибо, приятель, я буду думать об этом!".

"Делай это и оставайся наполовину здоровым!". На этом разговор закончился.

Трудовой лагерь VIII

Это разрешилось во второй половине августа, когда мы, "новички", стояли на лагерном плацу. По какой схеме мы группировались и делились, осталось непонятно. Товарищи, которых я знал еще как солдат, хотели остаться вместе, поэтому и я был готов поменять свою группу на другую. Как-то чувствовалось, что нахожусь на "игре судьбы"; но мне это было безразлично, так как к этому времени я еще не знал, сколько трудовых лагерей вокруг главного. Нас считали и снова пересчитывали. Костяшки "Stschoty" (счетов) (вычислительное устройство, которое напоминало мне первые школьные годы) летали туда и сюда, до тех пор пока счет не сходился. Старший лагеря сообщил коменданту: "Trista nemez!" (300 немцев); так велика была группа, в которой я стоял. "Idi marschirowai! Dawai! Nепrawilno!" (маршируй, быстро и правильно) звучала команда коменданта лагеря.

Я знал не больше, чем вся трехсотенная группа - только то, что мы последнее подразделение, которое стояло перед воротами лагеря. Это был не бравурный марш, но – молчаливый марш, так как каждый гадал, что принесет ему новый период жизни.

Два или три километра мы прошли? Очень скоро из марша получился ползучий проход военнопленных; только громыхали деревянные подошвы. По ходу можно было увидеть слева город Асбест, а напротив, на отлогом холме, вахтенную вышку лагеря VIII. Почти враждебными показались нам ворота лагеря, когда мы увидели их вдали, за поворотом дороги. Без всякой команды, мы просто сели и ждали, рядом с комендатурой и бараком охраны. Никто не спешил к нам. Прошел, пожалуй, добрый час, до тех пор, пока русский офицер не вышел из здания и не пересчитал нас вторично, после чего ворота лагеря открылись. Затем построились мы на лагерном плацу. Грубый, сытый немец, в полном блеске - он носил немецкую форменную одежду всемогущего фельдфебеля, начальственно шагая, приближался к нам, глядя сквозь ряды ждущих, ухмыляясь свысока, без слов приветствия на устах. Когда его глаза достаточно узрели, он затрещал: "Становись! Равнение направо! Смирно!". Мы неохотно выполнили. Так как он не был доволен нами, команда поступила еще раз. Появились голоса, что мы, мол, не на

казарменном дворе. Это возбудило его, и он крикнул: "Ложись!". Большинство приказ выполнило, но я остался стоять, со мной еще несколько человек. Тут он подошел ко мне быком, упирая руки в бока, и прошипел вполголоса: "Я сказал, ложись!" Хотя и был я существенно меньше, чем он, но посмотрел ему в лицо и сказал подчеркнуто спокойно: "Njet! (нет!)". Звучная пощечина шлепнула на моем лице. Когда вокруг лежащие услышали, как бывший фельдфебель прикрикнул на меня, гневно показав мне сжатый кулак: "Человек, примите положение!", а я, тем не менее, вторично отказался, многие встали из положения лежа и держались так же небрежно, как я. Теперь он потерял, лицо, однако, не хотело лишиться его окончательно, и приказал: "Встать! Вольно!". Это было "приветствие" - и я, заходя вперед, скажу, что Starschina (старшина) использовал каждый случай, чтобы показать мне свою власть.

Сначала мы разделились по национальностям: немцы, румыны, венгры, итальянцы - оставались только 5 или 6 австрийцев. Затем выделялись профессионалы из каждой группы: столяры, плотники, слесари, электрики, сапожники, портные, - остальные оставались собственно рабами. Что можно взять с учителя, тем более, что я умалчивал о своей квалификации сапера и о воинском звании...

Было уже далеко за полдень, когда прибыл руководитель национальной группы и принял своих людей; фельдфебель взял под свое покровительство лишь профессионалов. Высокий, худой, выглядящий больным Plennyi (пленный) подошел к нам, нескольким австрийцам, подал каждому руку и сказал на венском диалекте: "Servus, приятели! Я знаю о вашем эшелоне. Так плохо здесь не будет, но меда ожидать тоже не надо!". Он повел нас в австрийскую землянку и скоро дал нам знать: " Вы еще не зарегистрированы, поэтому еды сегодня не дадут!". Еще и это! Персональный прием был произведен быстро. В мою карточку он вписал: имя, дату рождения, место рождения, профессию, звание, воинскую часть. При этом я назвал только номер дивизии и полка, но не свою принадлежность к саперному взводу. Почему я сделал так, этого я сегодня уже и не скажу; это было все же ошибкой!

Житель Вены попал в русский плен на Дону, обходились с ним хорошо, не испытал унижительной пропаганды, затем - Свердловск, работа на "Уралмаше" (ранее тракторный завод, в войну оружейный и танковый). В последствии, как единственный там австриец, был переведен в Асбест. Венец был больным человеком, классифицировался как нетрудоспособный и заботился о четырех бригадах австрийцев. Мне он был с самого начала симпатичен, так как не держался за свое особое положение. В конфиденциальном разговоре он мне рассказал о некоторых людях, которые имели влияние в лагере: о старшине лагеря, которого я уже знал, комиссаре лагеря, лагерном враче, АНТИФА-руководителях, "сталинградцах", коммунистах и социалистах, которые занимали все жирные должности и принадлежали к иерархии лагеря.

Мы, новенькие, сидели 2 дня и должны были выждать следующее распределение работ. Продовольственное снабжение было таким же, как в главном лагере, это значит, мы получали полкомплекта продовольственного снабжения, лишь рыбный суп был ещё отвратительней, а чайная ложка сахара исчезла « во мраке».

Первое бригадное собрание: житель Вены, его звали Вилли, перегруппировал личный состав; он сделал из четырех бригад пять и назначил меня руководителем пятой, так как узнал, что я понимал некоторые фразы на русском языке. Моя бригада состояла из восьми человек, в том числе трое из числа «старых» пленных. Можно было согласиться с назначением, все же, это было доверие ко мне, но был ли я, как новичок, в состоянии противостоять русским Natschalniks (начальникам)... Если бригада не достигала 100 % производительности труда, то это заканчивалось не получением полного продовольственного снабжения. Мне было ясно, что от меня ожидали больше, чем я был в состоянии дать. Однако, с другой стороны, я был рад что-то сделать для моих товарищей. Вместе с тем я получил задание, которое мотивировало меня. Физически я чувствовал себя окрепшим, но отнюдь не настолько, как во время службы сапером. Моё "повышение

по службе " было скреплено рукопожатием, как печатью. Австрийская группа состояла из жителей Вены, Бургенлендерна, Стейрерна и обер-австрийцев; я был единственным жителем Тироля и назывался шутливо "Seppi" [1]. Только годом позднее присоединились еще кэртнер и зальцбургские. Однако, жители Вены оставались в большинстве, со всеми их преимуществами и недостатками. Вилли повёл меня к старшине лагеря и представил меня, как нового бригадира. Комментарий старшины был такой: "Тиролец может лизать мне задницу; будет ещё мои сани возить!". Вилли потом спросил почему, и я рассказал ему, как фельдфебель недавно приветствовал прибывших. Вили сказал задумчиво: «Ты скоро заметишь, как он относится к австрийцам. Он может позволять себе все в своём положении, потому что русские разрешают ему господствовать».

Рабочие бригады на спинах не носили большие русские буквы ВП (военнопленный). Чтобы отличить личный состав от пленных главного лагеря? При первом распределении работ моя бригада получила самое плохое рабочее место, из всех возможных - акт возмездия старшины лагеря. Посередине тайги, на вырубленной площадке, копали ямы для фундамента строящегося тракторного завода [2]. Из-за болотистой местности нужно было копать ямы до тех пор, пока не обнаруживался более твердый грунт. Он мог находиться на глубине 10 - 12 метров. Выданный инструмент был отвратителен: ручная пила тупая, топор годен лишь для заколачивания, плоскости лопат изогнуты. Стали копать яму размером четыре на четыре метра. Сначала были корни деревьев, их мы преодолели. Чем глубже мы копали, тем сырее становилась земля. Вода сочилась, и скоро мы стояли по колено в грязи. Когда десятичасовой рабочий день закончился, мы прошли только 2 м в глубину. Natschalnik (начальник) прибыл, обмерил и записал 40 процентов, что означало 300 г сырого хлеба и литр супа, готово! При этом я могу честно сказать, что мы не лодырничали..

На следующий день, я не поверил своим глазам - это ли было наше рабочее место? Стены ямы оползли; я предложил использовать её как Parascha kadka (парашу), единственно, на что она годна. Было мучением вычерпывать просочившуюся воду, стоя в грязи. Но появилась и другая забота - стены ямы могли обрушиться. Вместе с приятелем я искал сучья и облицовывал ими стену. Затем мы забили толстый сук в стену ямы, как платформу строительства, организовывали доску, на которой мог стоять человек, чтобы поднимать выкопанную болотную грязь далее наверх.

Это было крайне шаткое дело, снова и снова были необходимы новые подпорки, чем глубже мы копали. Мои знания сапера оказались кстати, но помощь была небольшой. Я придумал, как вычистить яму с помощью досок, просил Natschalnik (начальника), чтобы он достал мне их, но наткнулся только на глухие уши; при этом - "Rabotaj skoreje! (Работай скорей!)", мы должны были работать лучше и более быстро. А когда я дерзнул потребовать лучшие лопаты, он обрушил проклятия: "Tschjort wosmi faschista! " (черт возьми, фашиста!). Едва мы углублялись, снова стены обваливались. Втроем мы строили сильную опалубку; дела хорошо шли и я вплетал сучья вдоль и поперек, но едва мы углублялись на 0,5 м, защиту нужно было делать снова. Я действительно боялся, одна из стен могла обрушиться и завалить нас. При сдаче работы Natschalnik (начальник) продемонстрировал примирение, показал другим бригадам нашу конструкцию и пообещал мне лучший инструмент, так как, вероятно, он тоже понял, что можно было победить грязь только таким образом. Все же он записал только 85 %. Маленький успех, который не принес нам, однако, ни грамма хлеба дополнительно.

Таким образом проходила эта паршивая неделя; мы были уже на глубине 6 м, но твердый грунт все еще не показывался. После первой опалубки была необходима вторая, затем - третья. Я пытался, как было возможно, придавать конструкции достаточную прочность, но все равно это оставалось опасной "игрой". Мой пример находил, правда, последователей в других бригадах, но выполнения нормы не было. Я не использовал здесь ругань! Я всегда напоминал своим людям, чтобы они не оставались бездеятельными, но организовывал это таким образом, что каждый получал возможность отдохнуть. С

другой стороны, мне было ясно, что в этой дыре никакие проценты делать было не нужно; итак " Ramalu raboti! " (более медленно работай).

Проходили вторая и третья недели, мы были уже приблизительно на глубине 8 м, но все еще не достигли более твердого грунта. Natschalnik (начальник) стал заметно беспокойней, так как он тоже был ответственен перед руководством строительства за выполнение плана. Он понял, что установка Dawai (давай!) ничего не приносит, и здесь он, может быть - из желания отблагодарить, записал 101 % моей бригаде впервые, чтобы поощрить других к большей выработке. Это помогало нам, так как мы получили 600 г хлеба и кроме супа также 3 полных деревянных ложки Kascha (каши), но только наш голод мало успокоился вследствие этого. Ведь, чем были эти 600 г хлеба – размером с кулак черный сгусток, который весил так тяжело из-за сырости!

В конце третьей недели мне пришлось, из-за из за сильных болей в обоих запястьях, идти к лагерному врачу и обращаться за лечением. Лечение – это сильно сказано! Она пристроила на каждую руку по 2 деревянных дощечки, которые обмотала грязными лентами джута. Освобождение от работы - на один день. На один день! Как я должен работать, если и ложку едва мог держать ? Я просил о втором и третьем дне, но её ответ был: " Chudowa njemezy faschista! " (плохой немецкий фашист).

Двумя или тремя днями позднее почувствовал сильные боли в обеих ступнях. Я едва мог стоять, тяжело было ступать. Каждый шаг стал адской мукой. Вилли осмотрел ступни и рассудил, что мне нужно непременно еще раз к лагерному врачу. Она не была сильно разборчива, когда начала мять мои ступни. Я должен был зубы стиснуть, чтобы не выглядеть в её глазах жалким. Одним словом - 2 помощника привязали меня к скамье, связали ноги и засунули деревянный кляп в рот. Обыкновенными ножницами она разрешила ступню, и тут же брызнул гной. Затем взяла плоскогубцы и стянула пять миллиметров толстой, размягченной грязью мозоли. Из ее комментария я понял только то, что подошвы моих ног были сильно ороговелые, и я занес инфекцию через постоянное стояние в грязи. Бинта не было! Вместо этого она обмотала мои израненные ступни бумажной лентой (похожей на туалетную), прописала мне 3 дня постельного режима и сунула 2 резервных ролика бумаги в руку.

Когда Вилли увидел меня после этого, он встретил и во время подхватил, так как я больше не мог шагать. Естественно, за 3 дня я не выздоровел. Вилли достал мне трость, и я должен был снова идти на стройплощадку. Natschalnik (начальник) и бригада показали понимание того, что я не мог опускаться с «бумажной» ногой снова в грязь.

Через несколько дней произошел поворот. Итальянские и румынские рабочие бригады отказались работать дальше в болоте, после того, как один румын оказался засыпанным по горло. Авария стала поводом, чтобы приостановить работы. Русское руководство стройки поняло, что для её продолжения нужно дожидаться первых морозов.

Моя бригада была чрезвычайно довольна уходом с этой стройплощадки, а Doktorscha (докторша) дала мне пригоршню мази для ухода за ногой. Беда состояла в том, чтобы бумага приклеивалась к израненной ступне и при её отрывании появлялись вокруг новые, кровоточащие места. Из-за этих проблем я восстанавливался медленно, и прошло продолжительное время до той поры, пока мои руки и ноги не были снова здоровы.

Новое бригадное распределение работ. Я еще прихрамывал, правда, но, все-таки, свою бригаду принял. На этот раз мы направлялись во внушающий страх асбестовый карьер. По рассказам я знал о нем уже достаточно. В моих воспоминаниях я еще вижу овальный котлован, сужавшийся к низу, до грунтовых вод, длинный и широкий. Я не узнавал, на какую операцию нас ставят, так как многие бригады получали рабочие места без предварительного разбора. Однако, скоро я увидел практику спекуляции и протекции. Всегда, когда после окончания работ производили большой подрыв, я наблюдал, что Natschalniks (начальники) предпочитали румын и венгров. После каждого подрыва горной породы проявлялся богатый содержанием асбест, а это значило, что норма выработки

могла быть легче выполнена. Бригады же, которые должны были копать в сорном материале, были бедными собаками, которые делали 50 или 60 %.

Норма выработки составляла 10 чанов чистого асбеста за 10 часов работы, время в пути, до - и с рабочего места, не считалось. Бригадир назначался для решения организационных вопросов (поставка инструмента, поиск пустых чанов и их установка, споры с Natschalniks (начальником) относительно рабочих мест). Однако, я не хотел, чтобы товарищи отработывали норму за меня. За полугодие, которое вкалывал в карьере, было немного дней, когда я не колот камень. Мое сравнение с рабами Египта, поистине, не было преувеличением. Я делал все возможное, чтобы добиться для моей бригады пригодного рабочего места, но Natschalniks (начальники) либо были подкуплены, либо предубеждены, так как в действительности они были русскими зэками или политическими ссыльными, которые стремились тянуть частные преимущества из нашей работы. Многие были настроены к нам действительно враждебно; особенно, если видели в нас фашистов, виновников их ссылки, так как они когда-то симпатизировали им (за что и попали сюда). Однако, имелись руководители работ, на которых не могли повлиять румыны и венгры и они производили распределение работ добросовестнее, выделяли и другим бригадам хорошие места.

Для геолога асбестовый карьер был настоящим сокровищем. Не только кристаллические формы, но и зеленые серпентины представляли для исследователей большой интерес для изучения. Установлено, что карьер был самым большим месторождением асбеста в мире. Но это нас мало трогало.

Асбест это минеральное волокно, тонковолокнистое, шелковисто-глянцевое, присутствующее в артериях серпентина. Ширина асбестовых артерий была различна (от 5 мм до 12 см), что для нормы выработки важно. Если асбест присутствовал богато, ещё можно было выполнить норму, но не при тонкой жиле. Если счастье хотело этого и наше рабочая площадка находилась на новом месте подрыва, случалось, что мы тайком закапывали добытый выше нормы асбест, в надежде получить на следующий день снова этот же участок.

Трудовой процесс казался простым, но был, однако, кроваво-тяжелым делом. Инструмент, острые и режущие молотки, а также мотыги и лопаты, были скверные. Я вспоминаю молоток с кривой, грубой рукояткой, которая рвала мои руки до крови. Хотя были специальные бригады, которые не должны были делать ничего другого, а только приводить в порядок испорченный инструмент. Однако, они использовали свое особое положение и не были расположены поставлять пригодный инструмент. Я спорил с этими бригадами, так как каждая поломка инструмента увеличивала риск невыполнения ежедневной нормы!

Мы должны были асбестовые жилы из горной породы выколачивать в ручную. В железные кубели, называемые "Parascha" (параша) или "Tschan" (чан), нужно было грузить только чистый асбест, а пустая порода или куски дерева не должны были туда попасть. Моей обязанностью было контролировать это снова и снова, так как при сдаче полного чана заводскому комиссару и писарю строго проверялось качество работы. Если дорожки горной породы были найдены, при всей тонкости жилы, тяжелый чан нужно было тащить назад на рабочее место, и перебирать там снова. Работали при всякой погоде, при жаре, холоде, дожде или снеге. У меня осталось в памяти - зимой 1944/45 при температуре минус 40 °С работы в карьере велись. Только когда обморожения рук и ног так возросли, что больше чем половина бригад вышла из строя, заводское руководство позволило разжигать костры. К этому времени я был уже рабом на асбестовой мельнице. Я еще должен упомянуть, что открытые ссоры за "Kirka-motyga" и "Molotok" (кирка – мотыга и молоток) в холодный период вели к дракам, при которых побеждали сильнейшие. Natschalniks (начальники) смотрели на это совершенно спокойно, только их "Dawai robota" (давай работай) разнимали дерущихся.

Доходило и до несчастных случаев на работе: сползшая горная порода после подрыва, перебитые руки, ноги, жестокие обморожения. Поздней осенью 1944 электро-экскаватор с резиновым кабелем длиной 50 м находился на ступенях карьера. Если расстояние больше не являлось достаточным, ставили новую мачту для электрического присоединения. Затем я должен был привязывать кабель за деревянные башмаки; один лишь подъем на качающуюся мачту был опасен. Еще хуже было выполнение электроприсоединения, потому что ток не отключался, а кабель был так изношен частым применением, что аварии были запрограммированы. Именно так и случилось со мной. Так как не было предохранительного пояса, я должен был удерживаться левой рукой, а только правой (не изолированными кусачками) мог действовать. Попал под действие электрического тока. Удар сорвал меня с опоры, и я упал с пятиметровой высоты на щебенку. Телогрейка предотвратила, правда, самое плохое, но все же сильно кровоточило из разбитого затылка, локтей и спины. Так как я был без сознания, меня просто отложили в сторону. Natschalnik (начальник) не позаботился обо мне. Был рядом пленный врач, но начальник не разрешил мне помочь. Товарищи по бригаде унесли меня к рабочему месту, дали мне воды, но это было все, что они могли сделать. Только в лагере Вилли позаботился обо мне и перевязал, как мог, кровоточащие и ободранные места. Я отказывался идти к Doktorscha (докторше). Ребра и спина болели, правда, но, слава богу, мои руки и ноги остались невредимыми. То, что Вилли не мог сделать - это освобождение от работы, так как, все-таки, для этого я должен был идти к лагерным врачам. Еще долго мучили меня сильные головные боли.

Асбестовая обработка. Полные чаны асбеста грузились в конце рабочего дня на машины, отправлялись к асбестовой мельнице и ссыпались на бетонную площадку. Тачками (имелся, правда, ленточный конвейер, который большее время не функционировал и простаивал) наполнялся асбестовым камнем огромный, вращающийся железный барабан. Он нагревался огнем (в качестве топлива использовались дерево или уголь). При определенной температуре асбест раскрывался с треском и прибывал в этом состоянии в пыльный сортировочный цех. Запыленность стояла такая плотная, что уже через четверть часа рот, нос и уши были полны асбестовой пылью. Не было защитных масок для нас, пожалуй, ими обеспечивались лишь только русские старшие рабочие. У меня постоянно свербело в носу, так как я пытался избегать дышать ртом. После окончания рабочего дня я выглядел, как "человек на луне" - толстая, от пота сразу затвердевшая, асбестовая пыль склеивалась на лице.

Сегодня все вокруг выдергивают большое количество денег у школ, предприятий и театров, под предлогом - что-то нужно делать с асбестом; говорят об опасности рака. Об этих опасностях, в течение лет, которые работали на асбестовой мельнице, мы ничего не слышали. Для меня это было только пылью, надоедливой и гнетущей, из-за которой я лишь тяжело дышал носом, терпел очевидное неудобство от пыли на лице и одежде.

Асбестовое волокно огнеупорное и кислотостойкое, поэтому его применение разнообразно. Я знаю также об асбестовом строительном растворе или асбоцементе, которым облицовывались бараки лагеря. Профессиональные каменщики показывали, воодушевленно, как замечательно гладко ложится асбестовый строительный раствор. Из смеси асбестовых отходов и извести, цемента, гипса, тонкого песка или молотого шлама и воды бригады лагеря производили огнеустойчивую и устойчивую к атмосферным воздействиям штукатурку, облицовочные панели, кровельные плиты, трубы и так далее. Другие показывали асбестовый картон для предприятий и дома, действительно хорошую асбестовую ткань. Я слышал от Natschalnik (начальника), что, как отходы, так и предметы потребления, волокно, транспортировались в Свердловск, далее по Транссибирской железной дороге во Владивосток и экспортировались оттуда в Канаду. Вместе с тем он подчеркивал важность добычи асбеста, как основу русской внешней торговли, как расчет за американские военные поставки. Также на лагерных собраниях звучал снова и снова

лозунг: " Асбест против войны! " или " Асбест для трудящихся большого Советского Союза! "

На стене комендатуры висела большая, черная деревянная доска, на которой стояли фамилии и процентные показатели каждой из бригад, выполняющих норму. Кто читал, понимал, что речь шла о бригадах профессионалов, которые могли существенно легче выполнять им отмеренную норму выработки ("Norma wyrobotki ").

Да, мне нужно было бы быть портным, слесарем или сапожником, это было бы, поистине, лучше для меня. Но как преподаватель ("Utschitschel (= учитель"))... Не было для меня никакого применения. Я не был в глазах руководства лагеря "bolschoi Spezialist " (большим специалистом). Образцовые бригады почти баловались, получали дополнительное продовольствие, такое как сахар и мясо со смальцем из американских банок. Мы, рабы, считались ленивыми и неохотно повышающими свой уровень. При этом оставались без внимания условия труда, голод, болезни и холод. Со временем стало известно, что между руководством предприятия и лагеря существовал договор, который регулировал оплату выполненных пленными работ.. Этой выработкой оплачивались санитарное, материальное и продовольственное снабжение лагеря. По-видимому, не полагалось зарплаты, так как я не получил за весь военный плен ни единого рубля, возможно, лишь слуги русских, привилегированная иерархия лагеря что-то получала.

Мы должны были выжить в системе, в котором самое низкое было на самом верху, в сфере влияния ГУЛага Советов - в условиях, к которым мы не были подготовлены, ни физически, ни, еще и, психически. Процесс приспособления был одним из больших "приключений" плена, он был непреклонной борьбой за существование и приводил к гротескным явлениям.

Лагерь – это масса людей, загнанная в самое тесное помещение. Здоровые и только начинающие работать пленники могли справиться с теснотой. С отвращением я вспоминаю земляные бункеры в лагере VIII . Ступеньки вели вниз в широкий центральный коридор, справа и слева находились двухъярусные нары. Не было никаких одеял (позднее мы получили старые немецкие шинели), соломенные тюфяки, не было подушек; мы лежали на березовых ветках, мучавших тело первое время. В середине прохода старая цилиндрическая железная печь, дрова для неё мы должны были воровать на рабочих местах. Выделения наших тел производили собственное "тепло» - смрад и ужасный спертый воздух. Каждым земляным бункером управляли поставленные старшиной, освобожденные от работы, старые пленники, проводившие его власть. Каким бы человечным ни был Вилли, житель Вены, но он тоже не мог оставлять без последствий самые грубые нарушения. Жилье находилось почти в земле, два грязных потайных окошечка не могли заменить нормальное окно. Балки крыши были укрыты хворостом, на котором лежал толстый пласт земли. Зимой ложился снег толщиной в метр и делал тесноту ещё не выносимей. Бункер австрийцев был, по крайней мере, не переполнен. Зимой 1946/47 у румын и итальянцев произошло ужасное отравление свинцом, так как они украли свинцовые белила из промышленной зоны и - надеясь, что будет больше света - внутреннюю часть земляного бункера выкрасили. Самые слабые умирали, выжившие носили гнойные нарывы на теле и лице. Спать под открытым небом летом было запрещено. Я рисковал быть наказанным, но снаружи - небесный воздух, внутри - зверский смрад и нехватка воздуха, охватывавшая меня. До 10 часов вечера в земляном бункере горели две тусклых лампочки.

Только ранним летом в 1947г лагерные бригады поставили сборные элементы бараков над снесенными землянками. С тех пор жизнь стала более похожа на человеческую. В лагере формировался новый порядок, новая иерархия из имеющих власть и сообщников, формы эксплуатации с новыми общественными слоями или классами. Основой для этого оставалась бесправие пленников и беспредельный произвол старшин, который допускался русской линией лагеря. В управлении лагеря было занято много функционирующих немецких коммунистов и социалистов, или таких, которые

выдавали себя за оных. Русские использовали лагерных функционеров, ANTIFA-руководителей, они подкупали их планомерно и допускали, что бы те получали преимущества за счет товарищей. Чем более жестоки они были, тем комфортнее была их собственная жизнь. Русский комиссар лагеря умел искусно устроить сеть шпионов и подслушивающих, которые причиняли много горя, даже если мы быстро разоблачали их.

Немецкий солдат на востоке не был никогда подготовлен к возможности плена, он не видел шанса на выживание. Мы получали всегда только лозунги: " Кто попадет в плен, будет русскими расстрелян!". Это вело к самоубийствам непосредственно перед взятием в плен. В плену я вблизи наблюдал общественную дезориентацию и неуверенность поведения. Запутывание пленных не только облегчало недобросовестным элементам задачу раздобыть теплое местечко и оснастить его полнотой власти, было возможно также ради сохранения власти наделять их скудными правами, которые военнопленный был готов признавать.

Я учил знакомых солагерников, не нести в себе шок взятия в плен и превозмочь чувство безнадежности. Привилегированные в пределах руководства лагерем брали руководящее положение, которое имели когда-то офицеры подразделений. Быть членом элиты лагеря - это легкая работа или полное освобождение от нее, хотя мы надрывались при самых плохих условиях; это быть тепло одетым, хотя остальные товарищи ходили оборванцами и замерзали; и это значило достаточную еду и особое продовольственное снабжение против остальных, которые терпели горький голод.

В лагерной нужде и при целенаправленной тактике русских, вознаграждалась покорность и покоренность, однако, наказывался протест, жестко и жестоко. При этом распался фундамент, на котором держалось раньше товарищество. Часто спор возникал из пустячного повода, разрасталась зависть. Некогда действовавшие понятия - готовность помочь и участие, исчезли, и исключений было немного. Каждый думал только о себе. Это я чувствовал по своей собственной бригаде. Между австрийцами, правда, связь существовала, но она была тончайшей и хрупкой. Вилли использовал всё свое влияние, чтобы преодолеть противопоставление друг другу представителей разных федеральных земель, чтобы избежать раздора и разлада. Для меня крушение товарищества было ужасным переживанием. Со временем стали собираться по двое, или по трое, те, кто ещё в состоянии были взаимно поддержать себя.

Неприятными страницами лагерной истории были и остались кражи у товарищей. Я вспоминаю: голодные и полностью мокрые мы подошли однажды вечером к воротам лагеря. 10 часов жесткого принудительного труда на фабричной стройплощадке были позади. Мысли овладевали нами: голод, еда, сон! Неожиданно яростный крик: " Мой хлеб! Кто украл мой хлеб? ". Мы пристально смотрели на двух наших приятелей, которые были слишком слабы для работы и находились весь день только в "ночлежке". Вор, оберавстриец, признался. Это было страшно! Если бы Вилли не вмешался в последний момент, не умер бы оберавстриец от голода, его свои же товарищи затопали бы ногами до смерти - из-за черствой хлебной корочки! Наказание человеку, лишившему кого-либо хлеба, было непреклонно жесткого. Наказание было без оглядки на возраст и чины. Вилли предотвращал, правда, какие-либо самосуды, однако, не мог избежать того, что русский комендант лагеря осуждал вора самое малое на 2 дня карцера, а до этого преступивших пленников на плацу выводили из строя. Червю было лучше, чем этой кучке нищеты!

Страх перед лагерем, голод, паразиты, болезни, холод, крушение старых связей, неизвестный срок плена приводили к мыслям о побеге – каким бы безнадежным ни казался проект, без знания русского языка, без систематической подготовки, без помощи от товарищей, на которых можно было положиться. Как часто я слышал такие дискуссии !

Бегство с рабочего места, вопреки охране, было не сложным. Но что затем? Мы даже не имели самой простой географической карты. А русские наказывали каждую попытку побега сурово.

Я должен еще одно "привлекательное слово" упомянуть - забастовка. Опасное, даже если это было пассивное сопротивление, единственное оружие слабых и бесправных. Русские имели ужасный страх перед волнениями и саботажем, обнюхивали всё вокруг, даже если это были только безосновательные предположения. Для забастовки была необходима солидарность. Против этого стояли - иерархия лагеря, национальные проблемы, страх перед наказанием, распавшееся товарищество.

Я знал только единственный случай - осенью 1945, когда пленные капитуляции после вечерней поверки устроили сидячую забастовку. По лагерю пронесся слух, что нелюбимый генерал Шёрнер (Schörner) [3] якобы сидел в офицерском лагере Асбеста. Новые пленники ничего не знали о соглашении между американцами и русским, о том, что пойманные американцами в Чехословакии немцы будут переданы русским. Они уже себя чувствовали в безопасности. Когда их, все же, высадили в Асбесте, они увидели в упомянутом генерале единственного виновника. Причём, это не было даже доказано, был ли Шёрнер действительно в офицерском лагере. Несколько назойливых требовали выдачи генерала - знак того, насколько новые были наивны. Комендант лагеря оставил забастовщиков всю ночь сидеть на плацу, днем до переключки они стояли, и что бы какая-либо мысль о забастовке была быстро сломлена, настойчивые не получили даже самого незначительного пайка. Для старшины лагеря это было смачной пощечиной, так как я видел собственными глазами, как комендант сплевывал перед высокомерным фельдфебелем и делал его посмешищем. Для меня это было высшим удовольствием! То, на что я надеялся, к сожалению, не вышло - он остался старшиной лагеря.

Большой голод

Голод стар как человечество и был всегда господствующей движущей силой в истории народов. Не рабская работа, не колючая проволока, не холод - голод был для нас, военнопленных, главным мучением. Голод делал из товарищей воров, предателей и прислуг русских. Физический голод пожирал тело, психический голод разрушал душу, дух и индивидуальность. Wojennoplennyi (военнопленный) страдал от физического и духовного голода.

До тех пор пока еще бушевала война, продовольственное снабжение лагеря не было достаточным и - как уже упоминалось - слишком привязано к выполнению нормы выработки. Полусуточный рацион - для жизни слишком мало, для смерти много - истощал до исчезающей субстанции.

Другой стала ситуация после окончания войны. Мы могли спрогнозировать с точностью до дня, когда произойдет изменение питания. Три месяца сои (суп и три ложки Kascha (каши)), три месяца пшена, три месяца Kapusta (капусты) и три месяца картофеля. Иногда ужасный суп с рыбьими головами. При этом отсутствовали жиры и белки, так как сразу после окончания войны американские вспомогательные поставки были остановлены.

Хлеб имелся в трех вариантах: черный, сырой хлеб; желтый, крошащийся кукурузный хлеб и - в большинстве случаев осенью и зимой - засохший жесткий хлеб (Suchari). Распределение хлеба стало ритуалом, связанным с доверием. Я видел еще самодельные весы для хлеба на 300 и 600 грамм, в зависимости от выполнения нормы. Делёжку выполняли старшины землянок или бараков. Имелся также список, который точно свидетельствовал, кто был счастливчиком, получающим полную пригоршню хлебных крошек, так как при разрезании или ломании булок образовывалась хлебная пыль.

Тяжело наказывался коллектив бункера, который умолчал о мертвце, по крайней мере, получил его пайку за один или два дня. Властвующая иерархия лагеря имела свою собственную столовую, и каждый не господствующий знал, что там нет голода. Посуду для еды, жестяную миску и деревянную ложку, пленник носил при себе. При стоянии в

очереди, за супом или Kascha (кашей), часто возникал спор тогда, когда помощники повара не достаточно хорошо мешали в гигантском котле пшено, сою или картофель.

Существовал еще второй список. Он касалась периода картофеля. Ночью каждая землянка или каждый барак должны были направить человека на чистку картофеля - с 10 часов ночи до пяти часов утра. Твердый как камень, замерзший картофель погружался в горячую воду. Так как никакие ножи не были положены, каждый картофелечист получал скребок, которым черная шкурка осторожно соскабливалась. Пару раз я тоже принадлежал к счастливчикам, выполнившим норму мокрыми пальцами. В качестве вознаграждения выдавался литр черного особого картофельного бульона – и для этого можно пожертвовать всю ночь! Перед кухонным баракком стояла грубая деревянная бочка, которая содержала кипяченую воду, безвкусную, но для утоления жажды пригодную – во время всего жаркого летнего периода. Над входными дверями висела доска, на которой был написан - какая насмешка - суточный рацион калорий. Во время войны он колебался между 1. 000 и 1. 100 калориями; после окончания войны он соскользнул до 800 . Я вспоминаю лето 1947, когда на огромном транспаранте стояло число 1.200 [4]. Я ненавижу это хвастовство, так как оно не препятствовало нашему голоду и только возбуждало к злым речам. Во времена землянок мы должны были жадно глотать нашу "еду" под открытым небом; только когда был построен отдельный барак для столовой, мы стали иметь крышу над головой. Доски для столов и скамеек кралась из промышленной зоны и с лесопилки, а так как мы не могли тащить в лагерь без разрешения комендатуры необходимое (краску, доски, гвозди, проволоку, жесть и инструменты), то снаружи были только пуговицы от штанов. Имелись, правда, всегда плохие Natschalniks (начальники), которые возмущались, но в лагерь они, однако, попасть не могли. Я вспоминаю, что поднимали нас даже ночью, сопровождаемые конвоем мы шли в промзону и тащили оттуда все, в чем нуждались безотлагательно. Самым замечательным предприятием была кража маленького локомотива, который мы закапали в землю, чтобы потом снабжать оба моечных барака теплой водой. Конечно, рабочие бригады получали за это недовольствие Natschalniks (начальников) при объявлении нормы. Собственно, было это в компетенции управления лагеря - обеспечить необходимым материалом, но организованная кража была составной частью системы. Такой стала добродетель от нужды!

Я должен еще раз к картофелю вернуться, так как этот продовольственный период был всегда самой плохой. Картофель, который просто высыпали из грузовиков на землю перед баракком-складом, состоял из испорченных, плохо собранных клубней, не различавшихся по виду от яйцевидных угольных брикетов, совершенно замерзших и черных как смоль. Черный картофельный суп имел такой же вкус, как его вид, тем более, что были времена, когда на лагерьной кухне, по меньшей мере, для рабочих бригад, не хватало соли.

Этот недостаток имел такие же ужасные последствия, как и недостаток витаминов, оказывавший жестокие побочные действия. Всегда, когда осень и зима, я страдал от куриной слепоты. Если я должен был идти ночью на отхожее место, я будил моего соседа по нарам, который должен был вести меня, а сам я не находил дороги ни туда, ни назад, так как отхожие места стояли в отдалении. Едва светало, слепота проходила. Удовлетворение естественных потребностей на территории землянки или бараков запрещалось, а также и под открытым небом. Запрет был настолько строг, что виновные сразу наказывался лишением питания.

Бывало, что в соевом супе плавали мелко нарубленная коровья кожа и животные внутренности (легкое, рубец, кишки и вымя). Запах был противен, и я мог только гадать, как долго эти внутренности и рыбные головы перевозились. Летом я щипал листья крапивы или других растений, сушил и тер их, улучшая этим мой "Sup" (суп)..

Продовольственное обеспечение после войны было катастрофическое. Сожженный войной и разрушенный Советский Союз не мог прокормить собственный народ, не говоря

уже о массе военнопленных. Вдобавок - сильный неурожай и отсутствие помощи со стороны союзников. Вот пример: осень 1946 года. Офицер взял меня с собой в его городскую квартиру колоть один день дрова. По окончании я был приглашен к обеденному столу. Я получил ровно ту же еду, что и вся семья: жидкий Borschtsch (борщ), два картофеля в мундире с коричневой солью, кусок хлеба, маленькую штуку Ryba (рыбы) и ещё два маленьких огурца; питьё - чашка чая без сахара. Благо, однако, бутылка водки стояла на столе. Даже офицеры Krasnaja Armija (Красной армии) не ведали более обильной еды.

Наш провожатый - смерть

Я думаю о тех товарищах, которые потеряли самих себя, которые оставили мысли о возвращении домой, умирали от эпидемии или от несчастного случая на производстве - не только голодная смерть сокращала лагерный состав.

Если я глаза закрою, то вижу их перед собой, нетрудоспособных, меньше 50 кг весом, похудевших до костей, таких слабых, что они не могли больше идти без помощи, и их остекленевшие, тупые глаза. В начале месяца проходил парад перед лагерным врачом и ее «штабом». Каждый, кто проходил мимо нее голым, должен был назвать свое имя и национальность. Затем она бралась за ягодицы. Если еще осталось небольшое количество мяса, как у меня, она говорила сухо " Rabota Odin " (работа один). Если она чувствовала под тазовой костью остаток мышцы, называла " Rabota dwa! " (рабочая категория два; только для работы в лагере). Часто она говорила ощупывая: "Rabota tri" (рабочая категория 3) - это были кандидаты в покойники. Им не нужно было больше помогать, так как не было случая, чтобы они восстанавливались. Меня знобило от их вида, но большинство принимало эту оценку безразлично. Никакого протеста, никакого вопроса, никакой просьбы! Wratsch (врач) обращалась с каждым из нас как со скотом, который оценивали и ощупывали. Ее делом было выполнять указания руководства предприятия и лагеря, как можно больше давать рабочей категории "perwyi" (первой). Я имел счастье, что мои ягодицы все-таки были еще мясистыми, что я оставался годным к работе - не по моему, а по ее представлению, как наша Doktorscha (докторша) чувствовала норму.

Еще были некоторые (также и в австрийской группе), которые выглядели наполовину сильными и здоровыми, но от безнадежности и тоски по родине измотали себя. В конце концов, они отказывались от приема пищи, говорили только о желании смерти, какие-либо советы были бесполезны. Они были уже не способны понимать хорошее слово; их знак рукой говорил только: оставьте меня в покое! Это было все зря. Не проходило и 14 дней, как они прятались без надежды в углу лагеря и умирали там одиноко и покинуто, как они хотели этого сами.

Нужно сказать обо мне: сначала была очевидна щель между большой берцовой костью и малой берцовой костью. После моего похудения последовало внезапное, быстрое увеличение веса; я стал больным от воды. Мое лицо нарастало, в ногах сформировались сгустки, в которых были глубокие провалы внутрь, ходьба и длительное стояние стали мучением. Я боролся со страхом, ноги могли - как у многих других - вскрыться, я боялся признаков флегмонии, при которой было только две возможности - ампутация ног или смерть. Сил было достаточно, чтобы преодолеть водную болезнь, однако, ноги не заживали. Я совсем по-разному, в зависимости от сезона, страдал от этого. Иногда мои ноги были так толсты, что я больше не решался снимать деревянные ботинки. Даже возвратившись домой я выглядел " цветущим ". И прошло некоторое время, пока я не потерял последние остатки воды. Но вода на лице и в ногах не была для Doktorscha (докторши) еще долго причиной, чтобы выписывать освобождение от работы. Вероятно, она знала больше, чем мы, про болезнь, может быть вынужденное рабочее движение было полезно?

Я вижу лесные бригады перед собой, как они стояли перед воротами лагеря и на самодельных носилках из березовых жердей несли товарищей, не только полностью изможденных и больных, но самое плохое - без искры воли к жизни. Приятель рядом со мной умирал в ожидании еды и сидел с опущенной головой, как будто бы он хотел еще раз "порадоваться" виду еды. Поистине, смерть знала много лиц.

Мой рот оставался безмолвным, но другие проклинали и ругали, когда мы на вечерней поверке вынуждены были стоять до тех пор, пока последний спрятавшийся мертвец не был найден в лагере - плохо зимой при лютном холоде! Нам не помогало никакое топанье ногами, никакое биение руками. Как позорна была сцена, когда находили мертвеца, тащили его вдоль лагерного строя и бросали к другим таким же перед комендатурой. Какое-либо сочувствие было притуплено. Я слышу ругань ждущих: "Он мог сдохнуть раньше!". Или: "Почему этот подлец держит нас на холоде? Он то больше не чувствует ничего!".

Не было кладбища, даже никакой братской могилы! Пленники, которые были на лагерных работах, раздевали мертвецов. Лохмотья оборванца были важнее. Затем ноги мертвеца связывались петлей из проволоки и труп тащили по лагерю. За складским баракком трупы складывались, как чурбаки. За зиму росла стопка до канта крыши, летом останки мертвых удаляли из лагеря быстрее. Мне не стыдно признаться, что я также, по списку очередников, принадлежал к похоронной команде, которая транспортировала гору трупов - зимой ли или летом - на санях в лес. Там тела просто разгружались и оставлялись, волкам или болоту к пожиранию. Там не было никакой молитвы; моя робкая попытка высмеивалась; когда я лишь безмолвный крест на лбы мертвецов накладывал, то высмеивался как "священник лагеря". Затем в столовой каждый получал одну порцию водянистого супа.

В середине ноября 1944 дизентерия ворвалась в лагерь VIII; сперва спор за места в сортире начался у итальянцев и болгар. Самых плохих отправляли в главный лагерь. Мне болезнь уже была известна и что помогает от неё, я знал также. Лагерный врач была тотальна в принимаемых мерах. Она действительно беспокоилась, хотела направить весь лагерь в карантин, но не получила никакой поддержки со стороны заводского руководства. Немногих медикаментов, которые она получала из главного лагеря, не хватало и на десять заболевших. Я был с моей бригадой опять на фабричной стройплощадке, в тайге уже на метр лежал снег; конвойные солдаты замерзали и зажигали «березовый огонь», при этом свежие березовые ветви горели как взрыватель. Перед дорогой в лагерь я набивал карманы древесным углем. Вилли был чрезвычайно доволен и распределял их между австрийскими бригадами. Каждый день новая доставка. Мы грызли обугленные ветки и надеялись на улучшение, но ждать приходилось долго. Doktorscha (докторша) дала один день отдыха от работы, мы брились снова сверху до низу, даже если я не понимал смысл и цель. Путь к отхожему месту и оправка были жестоки, так как колики и судороги в кишках пробивались у меня так быстро, что я больше не добежал до отхожего места, оставляя кровь и слизь в штанах. Сначала меня еще хватало на чистку штанов, но скоро сдал. Зимний холод прибавлял проблем. Словом, смрад в земляном бункере: зверский! В моей бригаде были двое, которые полностью обессилели. Вилли старался, как он хорошо умел, вливал им черный картофельный суп. Только слабость наступала. Насколько высока была смертность в лагере, я не могу обсуждать, так как был слишком слаб, чтобы участвовать в транспортировке покойников. То, что даже иерархия лагеря не осталась нетронутой и мы одну неделю не видели старшину лагеря, не было для меня никаким удовлетворением, так как я знал их возможности, чтобы выздороветь снова.

Прошло пять недель, пока эпидемия не сократилась наполовину. Кто имел еще резерв сил, выжил, другие были потеряны безнадежно. Лагерный врач прекратила на одну неделю требование выработки нормы, мы получали полную норму продовольственного

снабжения. Это также мне помогло. Медленно я поднялся и принял - вопреки водянке в ногах - снова свою бригаду.

Были также смертельные несчастные случаи в карьере, в лесных бригадах, на Taiga-Säge (тайга-пила, лесопилка) и на мельнице асбеста. Вопрос виновности никогда не ставился; не было никакой заводской комиссии, которая установила бы причину смерти. Благосклонность и небрежность со стороны инспекции строительного надзора происходили при беспокойстве пленных. Например: русские инженеры сохранили намерение соорудить выше ямы фундамента двухэтажный деревянный павильон, где разжигали огонь и установили курящую печь, - держали температуру едва выше точки замерзания, чтобы зимой было можно бетонировать. Я предостерегал моего Natschalnik (начальника) о том, что закаленные железные зажимы, которые мы забивали в твердое как камень замерзшее дерево, весной - по истечении первого периода росы - не удержат, халтура как карточный домик обрушится. "Ne ponimaju" (не понимаю) и "Tschto tako?" (что такое?) были для меня сигналом, что русские делали только то, что им приказывалось. Главное дело - установить фундаменты, прежде чем лесная земля снова не превратится в няшу. Убедительный аргумент, который я представил по своей заботе, остался незамеченным. В другой бригаде работал немецкий инженер-строитель, который также усиленно предостерегал, но он получил вместо ответа: "Poloch! Chudowa faschista!" (плохо - и вдобавок обычное слово оскорбления).

Так и произошло. В начале мая 1945 снег растаял. Я работал с моей бригадой по устройству арматуры для бетонирования, обдирал пальцы о железо, когда неожиданно раздался треск, и весь павильон обрушился. Вырвался огонь. Крик раненых был страшен. Бригады все были созданы, и мы вынесли 18 мертвых и 25 тяжелораненых товарищей из хаоса бревен и досок. Русского руководства строительством это несчастье не коснулось, пытались даже запихнуть вину нам «в ботинки», так как мы, мол, плохо работали. Это была высшая наглость, которую я испытал! В лагере проводился по этому поводу опрос на собрании бригадиров со стороны комиссара и инженера-строителя. Мне было достаточно неосторожно представлено слово, в котором я напомнил о своем предупреждении, закончившимся пустым движением рукой. Вместе с тем это сделало меня подозреваемым в саботаже - обстоятельство, которое позднее привело меня в злое смущение. Уже самое незначительное сопротивление неизбежно тянуло за собой жесткое наказание.

Я должен признаться по правде, что в начале 1947 пришли перемены. Охрана была отменена почти совсем; мы получили пропуска ("Propusk") на путь к рабочему месту, высокие нормы несколько смягчились. Отношение Natschalniks (начальников) к нашей рабочей силе существенно улучшилось - по крайней мере, в пределах австрийских бригад, так как руководство лагеря и руководство предприятия подчеркивали снова и снова: наша работа помогает австрийскому государству и признается как возмещение ущерба Советскому Союзу. Эти высказывания существенно способствовали тому, что наше трудовое положение получило новый смысл и цель. Сегодня мы знаем больше. В секретных документах НКВД (государственная тайная полиция) можно навести справки об Асбесте: город на северо-востоке Урала с Uprawienije (управлением) 7084, учрежденном в 1941/42гг[5], охватывающем одно время 19 лагерей, из этого 8 - в городской черте. Uprawienije - это наименование для некоторых, к управлению лагеря прикрепленных лагерей военнопленных под общим лагерным номером. В Советском Союзе во время войны, а также после её, образовано 215 Uprawienije (управлений) с 2.454 отдельными лагерями. Больше всего их находилось в центральном регионе, только немногие в Сибири. На Урале и за Уралом были, самый известные - Perwoumaysk, Rewda (Ревда), Degtjarka (Дегтярка), Асбест, Perwouralsk (Первоуральск), Kamenaja-Palatka (Каменные Палатки - Кировский район г. Свердловска. - Ю.С.) и Woikowo[6].

Кроме военнопленных различных национальностей, содержались в Асбесте также гражданские интернированные (русские заключенные). Документированная численность

составляла примерно 36. 000 человек [7]. Сначала условия содержания в лагере были так плохи, что, например, зимой 1944/45 только в главном лагере около 3. 000 пленных от умерли голодного тифа [8]. Условия жизни улучшились только в 1948 году. До этого там могли умереть до 25. 000 человек [9]. Оставшиеся лагеря Асбеста существовали до конца 1955 г.

Потерянные за колючей проволокой

Это было уже осеннее время; заканчивался сентябрь 1945г. Листья берез северной тайги стали желтыми и красными, только местами была видна не богатая зелень. Сумерки были коротки, переход от дня к ночи был такой, как будто бы перелистнули книжную страницу. Первый ночной заморозок сделал грунт жестким. В вечернем воздухе уже стоял запах предстоящего первого снежного бурана, так как сибирская зима не появлялась ползуче, скорее всегда как фурия, неожиданно и ураганно. Я сидел на верхней лестничной ступени, ведущей вниз в земляной бункер, и смотрел через колючий проволочный забор.

Там, как остолбенелый, склонившись телом вперед, стоял человек. Взгляд его искал даль; руки находились за спиной, его пальцы были сцеплены один в другой. Так он стоял недалеко от наблюдательной вышки на почтительном расстоянии от колючей проволоки. Обреченный, который искал смерть. Потерянный, который теперь мог исполнять лишь легкую лагерную работу, который уже сдал себя. В нем не было больше никакой искры надежды. Кто был этот человек на перекрестке между жизнью и смертью? Был ли он один из многих, кто потерял веру в продолжение жизни, безнадежно потерял, потерявший себя одиночка, тоска по родине которого была разбита грузом рабского труда и голода? Находились ли эти обломки в состоянии искушения убежать от самого себя, так как он не хотел больше быть тем, кем он стал однажды?

Так этот человек стоял, безнадежно склонившись перед колючей проволокой, только верхняя часть туловища качалась, и уже четвертый день. Что искал его взгляд? Человек ждал до тех пор, пока не зажгли прожекторы на вышке. Затем он медленно шел на плац. Я смотрел за ним, до тех пор, пока он не исчез за отхожим местом. Я наблюдал обреченного еще дважды, всегда на том же самом месте, затем его больше не стало. Лицо осталось мне чужим. Лежал ли он уже голым на стопке мертвецов за бараклом склада; сломал руки и ноги, выбрал другое место? Я спорил с Богом, с жестоким миром и не находил ни какого ответа. Ночь настигла сумерки - я замерз, а мое сердце оставалось равнодушным. Где осталась моя человечность? Скоро желтизна и румянец таежных берез стали исчезать, нас снова начали терзать мороз и холод; снежные облака на ночном небе скрыли звезды веры и надежды.

Позднее. Вилли подсел ко мне и спросил: "Ждешь ли ты кого? Не того ли, который не будет больше приходить? "

Я: "Да, его, который это дал, который это решил, чтобы больше не было возврата!".

После безмолвной паузы Вили сказал задумчиво: "Все же, ты христианин. Я никогда не молился по-настоящему! Но если бросивший нас Бог освободит тебя, ты его потом не бросай на произвол судьбы!".

Я посмотрел на Вилли вопросительно, взял его руку и пожал её. Густой туман появился, и его стекловидная скатерть укрыла лагерь ледяными щупальцами. Таежные деревья начали трещать.

Первый период морозов начинался в середине октября, сопровождаемый снегом. Затем следовала фаза спокойствия и подготовки, до тех пор, пока не начинались снежные бури, с силой, которую тяжело описать, так как иногда ревел такой холодный ветер, что мы на пути к рабочей площадке втягивали голову, наши шаги только на один, два можно было запланировать (из-за плохой видимости). Или дребезжал мороз, и хрустел снег при спокойном, ледяном воздухе и ясном небе. Я боялся меньше снежных бурь, гораздо

больше ледяного ветра, который проникал под кожу и обжигал едко-холодным воздухом лицо. Наш марш домой в лагерь стал стремительным; конвой не обращал больше внимание на ряды четверок, так как даже вахтенные солдаты замерзали, несмотря на их подшитые перчатки, их меховые шапки и длинные шубы. А как мы выглядели? Мы получили, правда, пальто солдатского обеспечения из зеленого сукна; тот, кто мог раздобыть тряпки, голову, уши, руки обматывал этим. Ребята приносили в лагерь из асбестовой фабрики пустые бумажные мешки, они меняли их на хлеб. И я поголодал за мешок из-под цемента. Из него я сделал жилет без рукавов, а остатки набил в деревянные ботинки, так как мои дрянные портянки давно свое отжили. Зима 1944/45гг стала для нас полной неожиданностей. То, что я не имел перчаток и никакого головного убора, было для меня особенно жестоко. Я только неделей позже смастерил себе из бумажного мешка колпак, который мог натянуть на уши.

Моя бригада получила проклятую выделенную работу - в жестко замерзшем болотном грунте выдалбливать ямы, чтобы расширять и углублять котлован; затем (и это было еще более жестоко), мы устанавливали арматуру для бетонирования. Мой Бог, железо было холодно, а совместное кручение проволоки требовало большой сноровки. Каждый раз, когда я начинал работу, пытаюсь надевать проволоку и поворачивать её, дышал на свои пальцы; это был только самообман. Это удавалось другим не намного лучше; они предпочитали котлован, чем стояние перед проволочной сеткой. Я давал Natschalnik (начальнику) понять, что при этих обстоятельствах больше нельзя гарантировать, будет ли установка арматуры выполнена по плану. Из этого произошли и торг и действие. Я обещал ему хорошую работу, а он должен мне за это позволить, что бы мои люди по пять минут у разожженного часовыми огня грелись по очереди. В дальнейшем я твердил бригаде о необходимости контролировать себя. Всегда, когда нос, лоб или щека становились белыми и стекловидными, только быстрое растирание снегом могло предотвратить самое плохое обморожение.

На свои пальцы они должны сами обращать внимание! Звучит, правда, смешно и неправдоподобно, но не приходило мне на ум ничего более подходящего. Я считал от 1 до тридцати, и в равном ритме мы топали ногами. То, что я запрещал строго, это когда кто-то укрывал рот тряпкой - воздух для дыхания только ускорял замерзание носа.

Всегда, когда мы тяжело ступали в утренние сумерки, я смотрел на большой спиртовой термометр перед воротами лагеря, установленный на столбе. Его шкала простиралась только до минус 40 °С; голубизна винного спирта лежала в стеклянном шаре. Но скоро моему взору колонка термометра стала безразлична. Если температура опускалась до 20 или 40 °С, в этом едва просматривалось различие; я одинаково сильно замерзал. Когда после обильного снегопада появлялся ветер или мороз осязаемо стоял в ясном воздухе, приходили самые плохие дни, так как солнце не имело никакой действенной силы.

Количество обморожений рук, лица и ног увеличивалось быстро. Маленькие кучки бригад, которые ждали перед воротами лагеря, становились все меньше. Также моя группа потеряла 3 человека, но, благодаря Богу, случаев смерти не было. Лагерный врач была не свободна перед этой проблемой: кто был еще трудоспособным, кто? Самые тяжёлые обмороженные направлялись в главный лагерь, только немногие возвращались назад. Циркулировали слухи о жестоких и необходимых операциях. Потери были очень высоки. Мы видели изнутри иерархию лагеря, проклятого старшину, одетого в сапоги из войлока, меховую шапку и толстое пальто; косматым мехом и всем видом он напоминал русского. Наши стеганые штаны, телогрейки и солдатские шинели были против холода просто слишком слабы, а во время работы в котловане особенно.

Несчастливыми были способные только к лагерной работе. Они даже без изношенной шинели должны были убирать снег, опораживать отхожие места и часто исполнять те глупо продуманные работы, которые были преимущественно, чистой трудотерапией.

Возвращение домой в земляной бункер мы чувствовали как избавление, даже если небольшое количество дров не позволяло выманить достаточно тепла у круглой железной печи. По крайней мере, нет ледяного ветра! Старое солдатское изречение снова появилось: " Многие уже замерзли, erstunken - еще никто! " Я лежал на березовых нарах, пальто служило как одеяло. Даже если спертый воздух часто был ужасен, он добавлял тепла.

Переключки на лагерном плацу стали фиаско. Хотя старшины бункеров и барачков делали свои сообщения, настоящий русский Deschurnyi-Ofizer (дежурный офицер) был достаточно недоверчив и считал своим способом - и это могло продолжаться! Проклинающий шепот шел по рядам, если снова принимал счет дежурный офицер, про которого мы знали, что он считает по пальцам: " Один, dwa, tri, tschetyre, pjat, schest, sem, wosem, dewjat, desjat ", затем он делал черту на своей деревянной доске и счет по десяткам начинался снова. Это был уже успех, если он достигал "Tysjatscha" (1. 000); затем он делал себе замену. Пленники становились беспокоящими, движение в рядах усиливалось. Доходило нередко для того, что счет начинали снова. За этим не было никакого намерения нас помучить; дела просто не шли по-другому. Только вначале 1947, зимой, русские стали больше доверять заявленному счету старшин барачков, в том числе и потому, что смертность в лагере стала существенно меньше. Все же стояние и топтание ногами на морозе оставалось злым мучением. Я захватывал соседа и таким образом мы прыгали, до тех пор, пока ноги не уставали. Только когда "prawilno" (правильно) "nieprawilno" (неправильно) изо рта офицера следовало, мы могли возвратиться в барак.

Первое Рождество в плену

Святой вечер. Какая насмешка! 10 подлых часов на стройке. Грунт котлованов, в которых должны были бетонироваться фундаменты фабрики, жестко замерз. Utschitschel (= учитель), кем бы я должен работать, ковырял ломом и киркой жесткую глину стен ямы. При этом мы все еще не знали, достигли ли мы уже, собственно, твердого грунта, или нет. Мои товарищи по бригаде углубляли яму, и это было несколько легче; горел огонь, чтобы размягчить жестко смерзшуюся глину. Каждые полчаса была смена состава; те, кто был внизу, должны были идти наверх. Моя левая рука, которая держала ледяной лом, замерзала твердо. Я мог снова кое-как выпрямить сырые пальцы только над костром и сделать их подвижнее с помощью грязной снежной воды. Но как был короток этот получас!

Снова и снова стоял на краю ямы Natschalnik (начальник), который ругал ленивых фашистов и своим вечным "Dawai" требовал, чтобы мы работали. О желании работать не могло быть никакой речи, но от жгучего холода движения тела стали жизненным инстинктом. Рядом со мной музыкант из Вены; он, опустив голову, пристально смотрел на свои, ставшие белыми, пальцы пианиста и безнадежно, молча, плакал. Я послал его вниз к огню, сказав, что он должен горстью снега тереть свои пальцы, до тех пор пока они не получат снова естественный цвет.

Таким образом проходили 10 долгих часов. Только когда появлялись солдаты конвоя, мы могли выйти из развала ямы. Определяют в четверки! Какое долгое построение! Мы топали ногами, обутыми в деревянные башмаки, обмотанные остатками бумажных мешков, колотили рука об руку выше истощенного туловища, до тех пор, пока последний из нашей жалкой кучки не был сосчитан. Солдаты проклинали нас, потому что их сбивали колеблющиеся ряды, и от этого снова начинался повторенный пересчет. На этот раз мы поимели немного счастья, так как конвоир умел хорошо считать. Мы рванули так, что деревянные подошвы едва давали поддержку - 2 км вверх до лагеря.

Остановка перед воротами лагеря! Комендант лагеря, его звали Мирков (Mirkow), подошел – одетый в меховую шапку и шубу, с переводчицей из комендатуры. Высокогрудая женщина-лейтенант перевела: "Майор знает, что сегодня для тех, кто

называет себя христианами, Святой вечер. Майор показывает особенное расположение: от каждой бригады представленный доброволец может идти на один час в ближний березовый лес, чтобы принести от туда дров. Но только нижние ветки!". И, засмеявшись, перевела далее: "Печь в бункере должна излучать счастье и рождественское тепло!".

Я представился, вышел из ряда, и когда не откликнувшиеся на призыв вошли в лагерь, каждый второй из 14 добровольцев получил санки и веревку в руку. Комендант сказал угрожающе: "Только один час! То, что вы соберете, должно принадлежать вам! Четырнадцать пленным и пяти конвойным".

Мы надрывались, воодушевленные внутренней радостью, что на Святой вечер будем иметь в бункере жаркую печь, пилили дрова по длине печи, делали связки, и ровно через один часа мы стояли снова перед комендатурой. Наружу вышла переводчица и сказала на хорошем немецком языке: "Майор благодарит вас. Теперь он имеет достаточное количество дров, чтобы быть в тепле. Связки дров остаются лежать. А вы, в лагерь!". Мы были обескуражены, громко проклинали, но протест был бессмыслен.

Когда я пришел в наш земляной бункер, холодная хамская ухмылка принимала меня. Меня ругали как "слугу русского" и "дурака"; и когда я спросил вечернего супа и 300 г хлеба, на это ответили издевательски: "Ты ещё хочешь есть? Трапеза прошла! Бери себе питание в комендатуре!". Помог Вилли, дал мне маленький кусок из своего хлебного пайка. Я отказался от какого-либо оправдания, меня душила ярость, лишь крикнул зло: "Ищите себе другого бригадира!". В моем животе шумели голод, ярость и ненависть - ярость на русских, ненависть к нелюбимым соседям. Таким образом, я нашёл свою лежанку, втиснулся между двумя моими соседями и натянул сырую шинель, как одеяло, на голову. Я думал о доме, о моей невесте. Знают ли они, что я ещё жив? Вероятно, объявили меня пропавшим, и на родине, где господствует война, я один из давно потерянных. Я не заметил, как два слабых огонька потухли. Холодная печь бункера стояла в центральном коридоре.

Мы лежали, тело к телу, во влажных тряпках, томились в собственном спертом воздухе. Последние болтуны и ворчуны стали тихими. Неожиданно кто-то чиркнул в заднем углу спичкой и зажег огрызок свечи. Одолевавший нас сон исчез. Я обратился туда, к тому свету, и во мне был лишь безмолвный вопрос: как достал приятель спички и остатки свечи? Что он отдал за эти ценности? Затем слышу я его голос: " Тихая ночь, святая ночь ". Его голос дрожал - тишина. Затем он вспомнил третью строфу заключительного стиха: "Иисус, спаситель существует. Иисус, спаситель существует!". Еще прежде, чем свет от свечи погас, я изобразил на стене бункера выше себя 3 креста: крест для моих родителей, крест для моей невесты, и третий для тех, которые уже перенесли лишения: " Упокой их Господи во Царствии твоём! ".

Я искал начало молитвы, но я не мог молиться, даже для себя самого. Я падал во тьму и хотел умереть, просто уснуть, быть мертвым. Сосед с левой стороны - я слышу его плач. Я также хотел этого, однако, не мог; мои глаза стали сухими очень давно, но я не спорил с участью, я думал, прежде чем возьмет сон: котлован, жгучий мороз, лом и молот. Борьба за выживание. Три креста выше меня: "Продолжай жить! Родина также страдает! ".

Рождество 1945 и 1946: посреди лагерного плаца стояла могучая высокая лиственница, иллюминированная огнями, и на вершине дерева светящаяся красная советская звезда, не звезда Вифлеема, но звезда тщеславной победы и земной власти; издевка, которая задевала мою душу в высшей степени.

Никогда не узнаем, кто прикрепил записку на ствол. Большими буквами слова: **ДЛЯ РАБОВ НЕТ РОЖДЕСТВА, ТОЛЬКО ЛИШЬ СМЕРТЬ!**

Новый год стучал в двери бункера. В течение декабря месяца сэкономленный мной от желудка хлебный мякиш, несколько поднимал настроение новогоднего вечера. Я отделял страшный год 1944 и "праздновал" победу жизни. Я выжил! Мое тело выжило, но не моя душа, всё ещё свирепствовала голодная и холодная смерть. Мы, будучи живыми, узнали изменение тела и души. Моя вера была ещё не горячей, но мерцал огонь надежды.

Вокруг меня была темнота неизвестности, под вопросом наступающий год, продолжение жизни. В комендатуре русские громко праздновали предстоящую победу, опьяненные водкой.

В лагере были антифашисты, которые продались русским, частично из политических убеждений, частично, - и это, пожалуй, большинство, из эгоистично-материальных соображений; принадлежали они к той самой "иерархии лагеря", со всеми властными преимуществами. Они были больше известны под именем "АНТИФА". Я слышал ещё на фронте через установленные динамики их неуклюжие обещания и призывы к перебегу.

В лагере VIII имелось пять таких юношей, находящихся в руках комиссара лагеря, которые управляли шпионами и распространяли пошлые лозунги и историческую ложь. Они развивали политическое давление и пытались целенаправленно влиять на товарищей. "Печаль, если они освобождены ...!". Их поиск жертв был избирателен. С простыми Płennyi (пленными) они имели легкую игру, но не всегда их искали. Интереснее для них были люди с хорошим или высоким образованием. Они тянули и меня в свои объятия. Неохотно вступал я в дискуссии, которые переходили достаточно часто в споры. Среди людей АНТИФА были фанатики, но плохо обученные, как агитаторы, возможно и любившие свое отечество; также были и мечтавшие о социалистических преобразованиях. Чертовщина и колдовство Советов сбили их с пути в болото самообмана, оппортунизма и предательства.

По советскому пониманию мы все принадлежали к прислужникам национал-социализма-фашизма, к реакционной буржуазии. В их глазах мы были приобретателями выгод капитализма, убийцами и разбойниками, которые напали и разграбили миролюбивый Советский Союз.

Среди антифашистов имелись также убежденные коммунисты, которые не были готовы с оружием в руках бороться против Советского Союза за свое собственное отечество. Еще можно было уважать эту установку, так как там было видно большое персональное мужество и последовательность, ведь они делали очень трудный выбор, по сравнению со слепыми, соглашающимися со всем.

Они, правда, не показывали свое внутреннее разочарование по отношению к реальной советской системе, но в частных разговорах с ними проскальзывало, все же, некоторое критическое слово.

Также, средство информации - фильмы, - предназначались для целей пропаганды. В связи с ночными сменами на асбестовой мельнице, я, в основном, ускользал от политического давления. Я вспоминаю лишь о двух фильмах, и жаль, так как они вызвали широкое обсуждение. Лента киножурнала: Красная площадь в Москве, парад победы; украшенный орденами советский маршал с гордым видом едет верхом перед мавзолеем Ленина и докладывает о параде Сталину. Затем красноармейцы бросают, - как очевидный знак унижения - знамена полков и дивизий немецкого вермахта, в том числе исторически почитаемые знамена Хоенфридберг, Россбах, Ватерлоо, Марс-ла-Тур и Скагерак, на каменную мостовую Красной площади. Я воспринимал просмотренное, вероятно, по-другому, чем те, которые все еще связывали немецкое солдафонство с честью и славой. И, все же, я ощущал горький привкус, когда видел, как захваченные знамена придавались стыду и уничтожению.

И там был ещё один фильм, который меня в высшей степени потряс: освобождение концентрационного лагеря Освенцим Красной армией! Горы трупов, крематории, жалкие бараки, выжившие - как они ползли, горы женских волос, выломанные золотые зубы, газовые камеры - замаскированные под душевые. Восприятие этого было шоком. До сих пор я знал только о Дахау, который подавался со всех сторон как обычный исправительно-трудовой лагерь. Само название "лагерь смерти" было неизвестно мне. Занавес неожиданно открыл мне: массовое уничтожение евреев, политических противников, пленных, свидетелей Иеговы, цыган, психически больных. Знавшие про это,

выходили молча, а отзывы тех, которые сталкивались с ужасом впервые, были разнообразны: "Пропаганда", "Евреи были подстрекателями войны", "Это были не мы, это были SD, SS", "Это поставленные сцены", "Об этом знает никто кое что!". Я сам не сомневался в подлинности показанных картин, даже если я не понимал значение. Днями позднее я искал разговора с немцем, который принадлежал к Ваффен-СС. "Ваффен-СС не могло делать ничего такого, это были другие! Мы были, пожалуй, жестоки против партизан, могли заложников расстреливать, однако, не травили газом тысячи!". Из этого я извлек, что ему названия Освенцим, Биркенау и Берген-Белсен были неизвестны. Заставила меня прислушаться его последняя фраза: "Если ты однажды вернешься домой, то тебе расскажут о Маутхаузене. Я был там, прежде чем я стал солдатом!". Проходили недели, и снова и снова противоречия воспламенялись.

Люди АНТИФА в нашем лагере отслужили скоро. Поэтому сюда нужны были новые, находящиеся вне подозрения люди, наблюдать за массой военнопленных. Сеть агентов и шпионов набрасывалась на лагерь; многие разоблачались, другие нет. Они имели шпионов везде; производили исследования партийной и SS-принадлежности, после - выявляли бывших служащих полевой жандармерии. К сожалению, попадали в их сети и некоторые невинные, так как рассказывали о военных приключениях, которые они никогда не испытывали. Крик пропаганды и песни ненависти смущали даже попутчиков режима NS. Я, правда, не стремился к дискуссиям, однако мне хотелось навести порядок в своих мыслях.

Многие имели страх перед комиссаром и старшиной лагеря. Таким образом, (и это было не чудо), некоторые находящиеся под угрозой, спасали себя на теплых местечках, получая небольшую работу, но большее количество хлеба. Они усердно исполняли свой социалистический долг - вливать новые лозунги неисправимым. Наблюдение за мной и подслушивание моих речей соседом, правда, не шло выше его разума. То, что имелось предательство, я понимал, так как учился на историческом факультете. Но дела шли выше моей силы - я был обязан подозревать всех и всегда.

АНТИФА мероприятия не имели никакой популярности. Мы хотели только заработанного сна или куском хлеба больше. Конечно, «хорошие» пленные могли посетить "митинги", проходящие под лозунгами совета пленных, чтобы принять, наконец, единогласно резолюцию об укреплении мира, в похвалу "папочке Сталину" или об осуждении американских империалистов. Тот, кто шел на эти собрания, делал это не из убеждений, а с целью втереться в доверие, ускользнуть от опасности, приблизиться к возвращению на родину. Выслушивать скрипуче звучащих идеологов не навредило также и мне.

Но и не дало мне ничего, кроме психологических и типологических знаний. Диалектика людей АНТИФА была прозрачна. Каждая речь и резолюция кончалась ликующим пением в честь великого мудрого учителя Ленина и друга всех трудящихся мира Иосифа Виссарионовича Сталина. Совокупность была ничем другим, как искушенной ловлей душ арканом власти! Как часто я думал: "Бедная страна, если это - твоя действительность; бедный народ, который должен отказываться от свободы. Народ, который на пути к древу познания наталкивается на шлагбаумы». Когда-нибудь могла бы родиться во мне и желаемая мысль: если я однажды вновь увижу родину, то предложу ей свои услуги и способности, а затем буду стремиться к тому, чтобы познакомиться с "более прекрасной Россией" - Россией без колючей проволоки и без "Dawai"!

Что был за "театр", когда антифа-молодежь, по команде сверху, пыталась преподнести нам новый русский государственный гимн - при плохом переводе. Конечно, мелодия звучала гордо и сильно; но если бы я еще смог воспроизвести на немецком языке текст дословно, то поток слов сложился бы в фасад сталинского строения стиля «Zückerbäckerstil (=стиль сахар-рафинад)».

Наряду с АНТИФА имелся еще "Союз немецких офицеров" (BDO). Я только слышал об этом. Я всегда слышал сердитые слова, после того, как новые громкие имена

стали объявлять (об их принадлежности к ВДО). Со скоростью молнии пронеслось по лагерю известие: фельдмаршал Паулюс вошёл в национальный комитет "Свободная Германия"! До этого немецкая группа лагеря видела в Паулюсе гаранта внутреннего сопротивления. Его, правда, не использовали раньше как вывеску, но уж теперь-то ненавистное имя бросалось в грязь, особенно со стороны старых пленников.

Как на нас смотрели русские

Сначала доминировала установленная дистанция. В глазах русских мы были самыми плохими фашистами, убийцами и проститутками. Только в их проклятиях отношение выражалась ясно. Когда мои знания русского языка позволили наполовину объясниться с Natschalniks (начальниками), появилась возможность увидеть их германофобский фасад. При этом два фактора играли роль: русская пропаганда и собственная судьба. Мы не могли ожидать никакого сочувствия со стороны населения. Те гражданские лица, с которыми я находился в соприкосновении, были ссыльными, переведенными на другую работу, криминальными элементами. Или - бывшими сочувствующими или прислужниками немецкого вермахта. В том числе были семьи, высланные за мелкие преступления в Сибирь, (частично - на время войны, большинство - на 25 лет). [10]. Только из этого было понятно, почему их ненависть встречала именно нас. Собственно, мы были поводом для их наказания. Эти ссыльные могли свободно передвигаться, правда, в пределах района Асбеста, однако, их условия жизни и обеспечения были не намного лучше наших. Имелось также в их намерениях стремление к власти, имелась коррупция, они подчинялись гражданскому и политическому руководству. Только с послаблениями в начале 1947г более ощутимо вошли перемены. Ненависть, недоверие и робость смягчались, и доходило до персональных контактов.

Я вспоминаю о Петровиче, крепком украинце, "Kartago-арестанте" (очевидно, Ф.К. хотел сказать «каторжном арестанте» – Ю.С.), монтажнике, работавшем на асбестовой мельнице. Он происходил из жителей черноморского побережья, и я называл его в шутку "готом". Петрович, хотя и был советским офицером, являлся украинским националистом. По своей речи, виду и движениям - образованный мужчина и в отчетливой оппозиции к русскому языку. Он называл ошибкой то, что Гитлер, после вступления немецких подразделений, не сразу пообещал Украине независимость. Что немецкое зерно, руда, уголь, работоспособность - более значительны, чем поддержка союзников. Я понял из его слов, что лучше бы украинцы были зависимы от Германии, чем от Москвы, которая обманывала, поработчала, ссылала их, изголодавших. Из средневропейского зарубежья я хотел видеть Россию, как объединившую в себе разные нации. Позиция Петровича была для меня контраргументом. На мой вопрос, что он думает об украинских партизанах, он давал такой ответ: "Бандиты и пиявки, доносчики и испытывающие жажду мести полувоенные!". Несмотря на самую плохую пропаганду, немецкий военнопленный держался перед гражданскими лицами истинно, как нормальный человек, работал при самых плохих условиях, терпел гнёт системы нормирования, курил Machotka (махорку), также, как сами русские.

9 мая 1945

Собственно, был нормальный рабочий день! Дождь стирал последние следы снега. Мы, отдельные рабочие бригады, стояли с 7 ч утра перед воротами лагеря и ждали уже целый час. И еще один. Никто не знает почему! Даже все знающий и грубый старшина

лагеря показывал неуверенность и озадаченность. Deschurnyi-Ofizer (дежурный офицер) вышел из комендатуры и отправил нас назад в земляные бункеры. Там мы сидели в полном неведении о таком поведении русских. Точно в 10 ч. в первой половине дня заревела лагерная сирена, заводские гудки - вой, как перед авиа-налетом, четверть часа. Мы стояли в недоумении на лагерном плацу, так, как если бы вдруг изысканное знамя Советов стало украшено пестрыми продольными полосами. Вся охрана вышла на демонстрацию парадным шагом; команды звучали как пистолет-пулемет. Комендант лагеря вышел из комендатуры, в сопровождении подчиненных офицеров и переводчицы. Он гордо крикнул нам: " Wojenno kaputt!" (=война капут!)! ". Меня охватил озноб. Была ли это радость, была ли это подавленность? Я это не знаю. Русский майор держал длинную речь, абзац переводился за абзацем. Он упомянул сначала о борьбе героев Красной армии и русского народа, о взятии Берлина, смерти Гитлера, который сдох как собака, о безусловной капитуляции немецкого вермахта. В заключении он благодарил "великого Сталина", победителя фашистских варваров, не упомянув, однако, ни одним словом союзников, ни американцев, ни англичан. Затем он передал переводчице листовку и приказал: " Tschitaitje! " (читаете). Старшина лагеря скомандовал: "Смирно!", и затем лейтенант огласила приказ Сталина. В воспоминании остались гордые слова победы, угрозы смерти для всех фашистов, убийц и грабителей, смерть фашизму и его клике. И когда майор начал аплодировать, шлепали мы все руками – или, по крайней мере, большинство - и кричали "Wojenno kaputt! ". Комендант лагеря поднял обе руки. Затем призвал к спокойствию. Он подумал, затем крикнул нам многообещающе: " Pomalu, poschli na doma!! " (=немного еще, и вы пойдете домой). Также и я кричал громко: " Poschalusta! Spasibo! " (пожалуйста, спасибо).

По случаю победы мы получали выходной. Это обеспечило нам полное продовольственное снабжение и - какое чудо – чайную ложку сахара, кислое масло и дополнительный сладкий Tschai (чай). Конечно, во второй половине дня мы должны были слушать радостные речи комиссара, старшины лагеря и людей АНТИФА. Их речи были приглушены, о скором возвращении домой речь почти не шла, но требовалось большей и лучшей работы. Это явилось бы нашей благодарностью папочке Сталину. Раздавались списки, в которых мы должны были подписываться, чтобы удостоверить таким образом нашу резолюцию благодарности. В бараке-столовой повесили новые транспаранты. Теперь это больше не называлось " Работай на антифашистскую победу!", а "Наша работа является благодарностью - за антифашистскую Германию, за победу мировой революции!".

Вечером в земляном бункере австрийцев: волны надежды, уверенности и необходимости освобождения взлетали и качались. Ковались планы на будущее; несколько наивно верили, что австрийцы станут первыми, кто будет освобожден. Другие уходили снова в химеры, которые не были выслушаны. Вилли призывал к осмотрительности; и если бы мы тогда знали или только предчувствовали, сколько еще месяцев пройдет, настроение ликования бы рухнуло.

С родины нам почти ничего не сообщалось, пожалуй, только про победы Красной армии. Мы знали, что крушение неизбежно, и, все же, 9-го мая был особенный день - поворотный пункт! Для агитаторов АНТИФА это был момент, когда они должны были изменить профиль работы. Скоро они нашли новое поле деятельности, стали сильнее призывать к работе, чем когда-либо раньше, сменив лозунги. Поэтому они оставались нам всё также ненавистны, потому что, - как можно подстегивать к дополнительной работе, если сам не работаешь, но можешь наедаться. Хотя некоторые их высказывания были даже верны, в основной части, все же, в нас недоверие так въелось, что мы не могли больше делать различие между правдой и ложью. Я никогда не был верящим слушателем, неохотно участвовал в обсуждениях, так как я почуял шпионов и предателей - но, к сожалению, слишком поздно!

Лето 1945 было жарким, часто температура много выше 30 °С, сильные грозы, совсем иначе, чем в горных районах - жесткие молнии, сильный гром, воздух пах серой, и мы учились быстро отстранять все, что было из железа. Мы ощущали очередной дождь, как благоденствие, даже если не имели от него убежища. Как великолепно, когда беременный жарой воздух вдруг стал омыт и охлажден.

Моя бригада работала попеременно на стройплощадке или в карьере. Русские инженеры поразили нас, когда велели копать котлован под водонапорную башню. На этот раз котлован имел диаметр 20 м. Вероятно, научились из опыта прошедшей осени, или установленные планы не велели снова ждать мороз. Предоставлялись стопки досок, столбов, брусьев и пригодный инструмент,- для обшивки и строительства трибун. Страх быть засыпанным отсутствовал, моя бригада неоднократно достигала долгожданного 101 процента. Однако, надсадная работа, стояние в грязи не сэкономили наши силы. Там в карьере мне было предпочтительней - из-за разнообразия.

Я не поверил своим ушам, когда я узнал, что русское руководство стала собирать бригаду, которая состояла из техников, инженеров и строителей. Неожиданно были запрошены немецкие специалисты. Также собрали плотников и столяров из других бригад. Это русским всё же пришло на ум, а до этого они видели в нас только фашистских саботажников и не пытались узнать нас. Это был очень энергичный русский инженер, который был в состоянии делать и побеждать, нуждался в "Polschoi" (больших) и "Choroschi spezialista" (хороших специалистах). "Plochaja Robota" (плохая работа) должна была исчезнуть и превратиться в настоящую производительность. Они нацеливались на конечный результат. Можно увидеть в этом, насколько тяжело далось русским признать наш рабочий потенциал. Прошли месяцы, до тех пор, пока не установились доверительные отношения, которые предоставили нам большую свободу действий. Заводское руководство отреагировало быстрее, чем Natschalniks (начальники), так как те могли только тяжело прыгать над своими тенями. Но сам лагерь не хотел в себе ничего менять, однако, мог рапортовать, что сносит землянки и сооружает настоящие бараки.

Многочисленные допросы, обсуждения и разговоры тянулись с лета 1944 до позднего лета 1947. Когда я сегодня вспоминаю, удивляюсь снова и снова разнообразию "манер", от жесткого допроса до обмена мнениями на исторические темы. Имелись все варианты. Нужно сказать, что меня не били, и не было случаев жестокого обращения, ни при каком допросе. Там не было никаких барашковых винтов, или других, рафинированных методов давления на военнопленных. Только позднее я заметил, что моя манера говорить производила впечатление на комиссара, вероятно, также мои исторические знания и бесцеремонные требования, касающиеся работы и лагерной жизни. Очень неприятным было только то, что я вызывался в большинстве случаев на допрос ночью, заспанный и совсем удрученный. Таков был метод. Часовой вел меня в комендатуру, на первый этаж. Я находился в большом, деловом помещении; на стене изображения Ленина и Сталина. За столом комиссар, красивая высокогрудая переводчица в звании лейтенант. Стул был определен для меня. Как я помню, первый допрос состоялся в августе, только немногими днями позднее, после того, как я пришел из карантина в лагерь VIII. Мой вид, наверное, не восстановился, на лице еще оставались следы поезда смерти. Красивая Scheuschtschina (= дивчина) предложила мне чашку холодного Tschai (чая) и положила еще коробку Papiroso (папирос). Первый допрос касался транспорта от Москвы до Асбеста. Сначала я медлил, но когда заметил, что комиссар уже был проинформирован, то раскрыл всё надлежащим образом; избегая какой-либо драматургии, однако, не экономил критических примечаний. Переводчица записывала, зачитывала протокол мне, и я должен был подписывать. В заключении она перевела: " Господин Майор нуждается в Ваших показаниях, так как этот транспорт повлечет за собой выводы, Вы можете идти! ". Немецкий язык переводчицы был безупречен, даже если она путала много раз "мне" и "меня", "твой" и "свой".

Вскоре после этого мой второй допрос. Искушение схватить сигарету, я в себе подавил, хотя просьба на моем лице лежала. Я охотно взял бы с собой для обмена на хлеб. Для просьбы, однако, я был слишком горд. При этом допросе меня просили написать военную биографию. Меня оставили, и через добрый час я исписал 4 страницы. Умалчивать что-то было бессмысленно, но я писал и соблюдал временную последовательность наполовину. Однако, следующий допрос показал, что комиссар несколькими высказываниями не был доволен; он хотел знать детали. Я должен был развернуто описать военную биографию, но свой первый документ назад я не получил. Здесь находилась опасная изощренность. Кто помнит после нескольких месяцев, что он писал? Также я удостоился перекрестного допроса, потому что использовал раньше другую формулировку и перепутал дату - комиссар замкнулся и велел перевести: раньше Вы писали так, и потом иначе! Эта дата правильная или другая? Было ли это в Минске или в Орле? Тут я поистине испытал панический страх! Моя память была приведена в беспорядок работой, голодом и холодом; это уже не было легко для меня, делать точные высказывания.

К сожалению, мне скоро стало известно, что мое подразделение из-за действий против партизан в России стояло в "черном списке». Еще присоединилось второе обстоятельство: комиссар был об этом отлично проинформирован. Для него это было просто, он должен был только сравнить мною написанные листы и выбрать мнимые противоречия, вот я уже и нахожусь на перекрестном допросе. Вечные расспросы и «сверление» приводили меня на край отчаяния, так как у меня не было свидетелей, не говоря уже о защитнике – получается, я должен был защищать себя сам. Время от времени я замечал, что комиссар меня намеренно загоняет в угол, хотя он точно знает, что мое высказывание было правильным. Я сильно сомневался, корректен ли был перевод, так как, получая частые контр-вопросы, должен был свои ответы неоднократно повторять. Снова и снова вопросы вращались вокруг моего участия в действиях против партизан в Киеве и Орле, сражения вокруг Курска и, отдельно, вокруг учебной программы в военной школе - почему я остался фаненюнкером? Звучало также имя генерала фон Эрдманнсдорф (von Erdmannsdorff)[11]. А затем снова вечные расспросы: сколько мостов, домов и транспортных путей мы взорвали; принимал ли я участие в расстрелах гражданских лиц и сколько русских я убил. Я не могу объяснить, почему именно я так часто допрашивался. Вилли предостерегал меня, что я не должен позволить прижать себя к стенке..

Однажды, это было в январе 1945, привели меня опять ночью. Снова одинаковые вопросы, одинаковые ответы. По знаку исчезала переводчица, и когда она вернулась, то поставила на стол пару Walenok (валенок) с иголки (сапоги из войлока). Сначала я поверил, что у комиссара проявилась ко мне жалость - с моими деревянными ботинками и просыревшими ногами. Далекое не так! Ледяным голосом он предложил мне сделку: либо замерзшие кости, либо сапоги из войлока; я должен был лишь оказывать легкие информационные услуги. Он осознанно не говорил "шпионить". Решение далось не тяжело, так как во мне не была никакой искры искушения. Это был, пожалуй, первый раз, когда я показал достоинство и решительно отказался от наглого требования. Я недвусмысленно объявил: я готов указывать на неудовлетворительное состояние работ и лагеря, но не буду называть, однако, никаких имен, сведений о каких-то разговорах и прочих персональных данных. Это вывело комиссара из самообладания, и он закричал: "Tschort, wosmin! Tschort snim!" (Чёрт возьми! Чёрт с ним!). Это также был единственный раз, когда он меня проклинал. Повернувшись к переводчице, он спросил: "Skolko gradusow?" (Сколько градусов?). Та дала ответ: "Tridzat!" (30). Он встал, повернулся спиной ко мне, посмотрел в окно и задумался. Я видел его движения кулаками, которые он разжимал и снова сжимал. Затем перевод: я должен был считать до 30. Еще раз и еще раз. Я понимал намек на холод. Затем мне было приказано, чтобы я снял ботинки; затем переводчица крикнула часового, и я должен был идти босой через заснеженную лагерную

улицу до земляного бункера австрийцев. На своей спине ощущал я его взгляд, но, однако, не его мысли.

Прошло долгое время. Я уже поверил, что комиссар меня списал, когда идя в июле 1945 в первой половине дня из карьера, снова увидел его. "Как дела?". Как шли у меня дела, спрашивал он. Я показал ему ободранную руку и опухшую ногу. "Pos wol mne pomotsch tebe?" (Позволь мне тебе помочь?). Я намеренно сказал по-русски: "Plocho, spasibo!" (Плохо, спасибо!). Он, таким примиряющим вопросом, неожиданно смутил меня, но также и насторожил. На этот раз комиссар не хотел никакого допроса. Его вопросы, вообще, были выдержаны: о моем рабочем месте, о моей бригаде, как выполняем норму, как я справляюсь с Natschalniks (начальниками), как далеко развились мои знания русского языка. И затем его вопрос о старшине лагеря. Так как комиссар спрашивал меня прямо, я не держал никакого листа перед ртом - я считал, что он информацию знает. Он фиксировал мои взгляды, брал их на заметку, а я старался себя сдерживать, чтобы не быть грубым; я не делал тайны из того, что я думаю о лагерных руководителях, о людях АНТИФА и обо всей "буржуазии лагеря". Переводчица спросила меня, готов ли я изложить жалобы письменно? Я изложил их снова с примечанием: по этим вопросам ничего не изменилось! Менее охотно комиссар слушал мои показания, о том, как сильно возросла в лагере национальная ненависть. Больше всех должны были терпеть испанцы, венгры и мы, австрийцы, от того, что немецкая группа лагеря видела в нас только "предателей Германии".

Неожиданно он перешёл к другой теме, спрашивал меня о Могилеве, правда ли то, что писал я про полковника Бусзе (Busse), про взятие меня в плен и первые работы по расчистке. Из этого получился длинный (туда – сюда) перевод. Так же скачкообразно следующий вопрос: почему я не признаю себя лейтенантом и не подаю заявлений о переводе в офицерский лагерь. Мой ответ: "Я никогда не ощущал себя лейтенантом, я не обладаю никакими доказательствами присвоения такого звания и не желаю, поэтому, никаких изменений!". Первый раз я видел комиссара смеющимся, и катящееся "Charoscho" (хорошо) было подтверждением, что он меня понял.

Вскоре после этого вызывают вторично в комендатуру. Снова вопрос о моем самочувствии - не было ощущения, что это является насмешкой. Он пододвинул мне лист бумаги, и переводчица сказала, что я должен записать все, что нужно изменить в лагере. Я писал, без длинного предисловия: прочь земляные бункеры, даешь более уютные бараки, которые лучше отапливаемы; увеличение столовой, барака госпиталя; реконструкция гигиенического оборудования и мочных возможностей; более частая смена одежды; более хорошая обувь; лучшая зимняя одежда; проведение языковых курсов для заинтересованных; учреждение культурных бригад, которые должны были поднимать настроение среди пленников; большая информация с родины; лагерная библиотека - я записывал больше и больше. Намеренно натягивал я дугу, в слабой надежде, что одно или другое требование может быть выполнено.

Мой список пожеланий не содержал просьбу дать возможность переписки с родиной. Мне это требование казалось еще нереальным. Время просто еще не пришло питать такие надежды. Действительно, слышал многие и громкие голоса, которые спрашивали, почему я скрывал от них признаки жизни. Всегда мы получали одинаковый ответ: Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию и не привязан к ней. Мы могли думать об этом или нет, но большинство из нас потеряли надежду.

Август или сентябрь 1945. Снова у комиссара! Он пододвинул мне на этот раз книгу Ильи Эренбурга; я должен был это читать. Затем вопрос, готов ли я организовать немецкую лагерную библиотеку? Он заботился, чтобы газеты АНТИФА, журналы и книги доставлялись пленным. Я сразу сник, уже потому, что я услышал слово "АНТИФА". Свой отказ я не хотел обосновывать этим, однако сказал, что вместо того, чтобы принадлежать к "иерархии лагеря", лучше руководить бригадой и работать, а не сидеть на жирной должности. "Жирная должность" вовсе не понравилась комиссару. Несмотря на его

совет, я остался при своем мнении. Вероятно, я должен был принять предложение, но в это время я еще не знал, что принесет мне зима 1945/46. Я любил читать, чувствовал потребность делать кое-что иное, а не только долбить камни и стоять в грязи котлована, это было больше чем естественно, так как я ощущал в себе бессмысленную пустоту. Учиться чтению и письму на русском языке нам запрещалось, не устраивались также другие языковые курсы, поэтому не было никакой возможности как-нибудь в духовном плане совершенствоваться. Отсутствовала компенсация жесткой работы!

Как хотел я близко узнать историю древней и более новой России, разнообразие ландшафта и населения, обо всей незнакомой Сибири! Мои знания со времени учебы были небогаты и скудны. Фамилии Гоголя, Пушкина, Толстого, Достоевского и Чайковского еще были мне известны. Как часто я был, как солдат, пристыжен, если в разговоре с немецкоязычными русскими их высокие знания немецкого языка и австрийской литературы удивляли меня. Даже слово "русский" путало меня, так как я узнал, как неточно и обобщенно это наименование. Мы были испуганы односторонними высказываниями о австрийских землях. Между нашими странами тянулся огромный политический ров, и он существовал до и после 1938 года. Лозунги политиков и громкие фразы не любят широкие горизонты.

Сначала я участвовал в обсуждениях, однако, скоро перестал, так как ощущал, что мои знания и переживания находились в другом политическом лагере, и мне не была приемлема грубая политическая связь. В нашей группе было также несколько закоренелых нацистов, которые говорили больше о великой Германии, чем об Австрийском государстве. Не дарил веру агитаторам АНТИФА, хотя они действительно искали новый путь нашего отечества после крушения режима NS (национал-социализма), даже если и под лозунгами антифашизма и КПА (коммунистической партии Австрии). Их представление о "Демократическом Австрийском государстве" Второй республики лежало далеко от какой-либо реальности. Демократия - да, но при доминирующем положении Коммунистической партии. Также в немецкой и венгерской этнических группах были аналогичные представления, они циркулировали в коммунистической объединенной партии, достигая вершин.

"Пленники капитуляции прибывают!". Этот возглас прозвучал в начале июля 1945. Только когда поступило подтверждение из главного лагеря, это стало известно и нам. Когда я со своей бригадой после 19 ч. возвращался в лагерь, 500 человек стояли перед комендатурой. Тем самым потери зимы 1944/45 несколько выравнились. Но это был совсем другой *Plennui* (пленный). Они не выглядели так, как мы - в обносках и опустившимися. Наш вид был для них психологическим шоком. Все они носили немецкую форменную одежду, многие из них еще и знаки различия, выглядели дисциплинированными солдатами; и то, что удивляло нас больше всего - многие несли рюкзаки и ручные чемоданы, кожаные сапоги и португепи.

Австрийская бригада лагеря приняла около 35 человек. В нашем земляном бункере стало более или менее тесно, мы должны были лежать спиной к спине, чтобы 62 мужчины нашли место. Я вижу еще их удивленные лица, когда Вилли встречал новое поступление, когда они увидели нашу жалкую постель и примитивность нашего жилья. К такой растерянности мы не были привычны; нас стали буквально засыпать вопросами. Наш старшина бункера вынужден был перевести их внимание на себя. Здесь Вилли сообщил в краткой форме о дисциплине лагеря, о рабочих местах, о норме выработки и о продолжительности жизни. Он никоим образом не берег новеньких, не рисовал никаких призраков, факты были достаточно жесткие, и они позволили иссякнуть потоку вопросов.

Пессимизм появился широкий. Моему соседу по койке, жителю Каринтии, было 50 лет. Я не выпрашивал его, я слушал рассказ без комментария, так как я чувствовал, что он должен вылить то, что в нем накопилось. Я мог позднее сравнивать и понял, что все несли равную участь: взятие в плен в течение первых майских дней в Чехословакии,

страшные колонны беженцев, акты возмездия чехов, плен у американцев, которые давали белый хлеб и мясные консервы и приобретали за сигареты немецкие ордена и почетные знаки. Кэртнер сообщал, что они были неплохо снабжены продовольствием. Совсем иначе в лагере Егер после передачи военнопленных русским: сцены насилия, самоубийства, в фельдмаршале Шёрнере они видели виновного. Их марш прошел вплоть до пригородов Лейпцига; там они были посажены в вагоны. Их транспорт двигался по этапу, до тех пор пока остатки не достигли Свердловска. Продовольственное снабжение во время десятидневной поездки было сокращённым, но в действительности никто не голодал. Они были расположены на соломе, примерно по 50 человек в скотском вагоне. Я не говорил, как совсем по-другому прошел мой транспорт. Громким было его ожесточение - быть теперь в русском плену, ведь он уже был в безопасности и знал, что будет отпущен скоро на родину. Янки задерживали только специалистов, высоких NS-функционалов и военных преступников. Остаточный транспорт был разделен в Свердловске, 2. 000 человек отправились в главный лагерь Асбеста.

Больно сердцу стало, когда я увидел днями позднее, что ножи и боевые вещи были изъяты у пленников капитуляции; правда, им разрешили сохранить свои личные вещи: фотографии, письма, швейные принадлежности, мыло, бельё; некоторые владели даже одеялами. Мы завидовали больше всего обуви новеньких. Как жалко, что нас разграбили! Поэтому было естественно, что началась оживленная меновая торговля: хлеб за швейную иглу, несколько паек хлеба за рубашку, за сумку Красного креста с перевязочным материалом и пластырем. Новые должны были обвыкнуться с нашим рационом питания, поэтому они были готовы расстаться с вещами, которые представляли для нас, старых пленников ценность. Я приобрел себе только 3 вещи: маленький блокнот, остаток карандаша и большую иглу. Я охотно голодал за это.

Это не продолжалось долго, потом их форменная одежда стала такой же линялой и грязной, как наши телогрейки. Я бы выменял охотно солдатский столовый набор для еды, но его меновая стоимость на хлеб подскочила до таких высот, что он не был больше доступен для меня; поэтому мои Loschka (ложка) и раздобытая Igolka (иголка) оставались при всем удовлетворении. Блокнот не выкрадывался у меня, но я особенно охранял маленький карандаш, даже если я не видел никакого ножа, чтобы его подточить.

Моя бригада "увеличилась" на 3 человека, в том числе был также зальцбургский преподаватель, который являлся руководителем местной группы и был призван в вермахт только осенью 1944 г. То, что он призвался добровольно, так как ему родная должность стала заметно в тягость, он признался мне позднее. Он мог преподавать, а ему пришлось стучать молотком, Lorata (лопатой) копать и Motyga (мотыгой) колоть. Бедный парень, перемена была страшно тяжела для него.

Это произошло в конце августа 1945, когда я с рабочего места в карьере был затребован к комиссару. Наряду с переводчицей, там находился широкоплечий мужчина, который носил гражданский кожаный головной убор и был одет как русский: серая, украшенная вышивкой рубашка с воротом, опоясанная ремнем; его синие шаровары были заправлены в мягкие сапоги [12]. Я ждал. Из разговора иностранца с комиссаром я понял только несколько обрывков слов, которые я не мог совместить, так как оба говорили очень быстро. Затем неизвестный с полувоенным приветствием обратился ко мне, и комиссар перевёл, что я направляюсь в распоряжение неизвестного на 3 дня, как писарь. Широкоплечий пишет роман о Сталинграде и хочет опросить находящихся в лагере "Stalingerader" («сталинградцев»). Моё задание - кратко протоколировать высказывания. Комиссар передал мне список имен, затем направил к старшине лагеря. Тот осмотрел меня высокомерно, и выяснилось, что он уже был проинформирован. Рядом в бараке регистратуры сидели призванные, всё люди, принадлежащие к "видным деятелям лагеря". Старшина собрал их посредством вручения списка по отдельности, никто не отсутствовал.

Писатель ставил сначала общие вопросы: воинская часть, дата взятия в плен, имена известных командиров дивизий. После первого опроса он произвёл

присутствующим отбор и отправил 18 или 20 тотчас же, всех людей, далеких от собственно боевых действий, служащих снабжения, охранников складов. Остались примерно 10 старых пленников. На второй день он опрашивал каждого отдельно, ставил целенаправленные вопросы. При этом доходило до споров, во всем, что касалось временной последовательности. Он далее суживал круг опрошенных, до тех пор пока осталось только не больше четырёх «сталинградцев», которые участвовали в боевых действиях в январе-феврале 1943, и принадлежали к боевым подразделениям. На третий день оценивались последние четыре. Разговор концентрировался на нескольких основных вопросах: Мамаев курган, элеватор, депо тракторов, оба немецких котла у Волги. Разворачивался большой план города Сталинграда, теперь разговоры шли о каждой самой маленькой подробности. Я имел труд фиксировать произнесенное эскизно. Затем я повторял, что записано, при этом получались дополнения, исправления и уточнения. На одного человека уходило 4 или 5 страниц. Детали я едва ли могу вспомнить; во мне осталась лишь огромная трагичность обороны и крушения шестой армии фельдмаршала Паулюса, страшный марш смерти в плен. Даже если четверо испытали капитуляцию раздельно друг от друга, то высказывания сходились почти дословно.

До поздней ночи я готовил чистовой экземпляр; некоторые места формулировал по-новому и получил похвалу за мое хорошее письмо руки учителя. Охотно я поговорил бы с писателем один на один, чтобы узнать больше о его личности. Однако, комиссар лагеря подходил снова и снова к столу, как будто бы он мог читать написанное мной и делал так, чтобы не мог возникнуть разговор. Когда все было сделано, и я рассчитывал уже отправиться к себе, нас пригласил комиссар и его переводчица к позднему ужину. Имелся чай с сахаром; при этом я наблюдал, как русские пьют чай: из чашки они лили почти зелёный сверкающий чай в блюдце, брали кусок жесткого сахара в рот и хлебали с наслаждением. Это было поучительно! К чаю имелись белый хлеб и кислое масло, которые комиссар и переводчица не на хлеб намазывали, а клали в чайную чашку. Я мог хорошо наестся, так как американская банка свинины также раздавалась. И в придачу я получил также глоток "белой" (водки). По-видимому, писатель был доволен моим письмом, так как я получил полную коробку сигарет и еще раз похвалу за мою рукопись. Высокогрудая Scheuschtschina (= дивчина) перевела, что мне можно идти назад в лагерь и я могу сегодня (было уже за полночь) на работу не ходить. Я поблагодарил снова с чистосердечным "Spasibo, boschalusta!" (спасибо, пожалуйста).

Я получил "Сталинградский роман" в руки, в дешевом издании, после моего возвращения домой. Внимательно прочитал, при этом даже находил знакомый текст.

Вилли позаботился обо мне, когда я искал свое место на нарах в темноте бункера. Только когда я выспался, я ему все рассказал и подарил коробку сигарет, с просьбой поделиться с бригадой.

Начало октября 1945. Беспokoйство в лагере VIII. Русская комиссия объявила ревизию Tudowoi (трудоx) лагерей. Старшина лагеря вел себя как дикий, требовал уборки бункеров и бараков. Лагерная улица заново посыпалась гравием, хотя в воздухе уже пахло снегом, кирпичные стены комендатуры мылись, ворота лагеря получили новый транспарант, доски столов в баракe-столовой выскабливались осколками стекла и чисто натирались. Рабочие бригады возвратились уже в начале второй половины дня. Старшина дал нам один час времени для приведения в порядок тела и одежды. Просто смешно! Где начинать и где заканчивать? Затем мы стояли на плацу и ждали. Подъехали машины, ворота лагеря открылись. Комендант лагеря и Deschumyi-Ofizer (дежурный офицер) сделали доклад, часть охраны представилась, за полковником - весь хвост офицеров - мужчин и женщин. Некоторые из них шли полностью безучастными вдоль наших рядов, не смотрели ни на право, ни на лево, не задавали никаких вопросов; короче - это было только шоу. Правда несколько офицеров инспектировали моечные установки в столовой и производственные бараки; земляные бункеры не озаботили никого. Офицеры-женщины

интересовались жалким бараком госпиталя. Численность лагеря составляла к этой дате несколько более 6. 000 человек.

Не верится, но было: рабочие бригады получили 600 г хлеба (не сырого, черного), литр Bortsch (борща) с чистыми Kartoschki-Würfel (картофельными кубиками), и в нем даже находились блески жира. Большим обманом, однако, были 3 ложки с избытком подслащенной рисовой каши! Перед нашими глазами комиссия брала пробу пищи и проверяла качество хлеба. Я не могу передать лести. Старшина лагеря сиял во все лицо и делал слащаво-услужливые мины. Отвратительно! Лучше нужно было поставить нас на весы, проверить, насколько наш вес ниже нормы. Годные только для работы в лагере должны были показать свои костяные задницы, настоящее лицо лагеря. Таким образом, это был только обман, показывали московской комиссии только то, что она хотела увидеть, а не рабочие места, живодеруший инструмент, книги нормирования. Потом смотри на вранье длинной бригадной доски - моя бригада норму выработки много больше выполняла. Никто из бригадиров, и я тоже, не решался на возражение или на критическое слово. Охотнее всего я бы эту несправедливость и показуху громко разоблачил. Но: червь не может кричать, он может быть только растоптанным!

Вечером в бараке австрийцев наш гнев висел в воздухе, но это не помогало нам ни сколько. Комиссия уехала, будничная живодерня получала нас назад.

Я узнал днями позднее от Вилли, что лишь лагерный врач был строго наказан – это несправедливость, так как, что может сделать врач, если не хватает всего: никаких медикаментов, никаких средств первой помощи при несчастном случае, при обморожениях, никакой аптеки, ни одной железной кровати, чтобы больница походила на саму себя. Вероятно, главный лагерь не мог снабжать лагерные отделения медицинским довольствием. При немецкой группе лагеря имелись квалифицированные санитары, в офицерском лагере были опытные врачи, однако, их вызвали только тогда, когда эпидемия уже шагала как ангел смерти по лагерю.

Несколькими днями позднее - также в октябре 1945, вечером после ужина неожиданно: "Все австрийцы остаются в столовой!". Старшина лагеря ввел внутрь женщину, которая представила себя как фрау Фишер из Вены; она была супругой депутата Национального совета КПА, Эрнста Фишера[13]. Когда мы собрались, Вилли назвал каждого по имени с указанием их федеральной земли. 62 австрийца сидели вокруг фрау Фишер, на которую обрушился шквал вопросов. Среди всех выделялись жители Вены. Вили, после больших мучений, создал порядок, чтобы каждый смог задать свои вопросы. Можно удивляться, но я ощущал фрау Фишер, как привет из Австрии. Что заботиться мне о ее партийной принадлежности. Она отвечала на наши вопросы искренне, рассказывала о Вене, об ужасных днях апреля, о сопротивлении австрийцев, о разрушении собора Штефана, о государственной опере, об оккупационных зонах, о докторе Карле Реннере, о том, что первые выборы Национального совета отсрочены. Затем она рассказала нам содержание Московской декларации и как важна она - для нас и всей Австрии. Она сообщила о разрушении Венского Нового Города и, на мой вопрос, также - Инсбрука. Сообщения огорчили нас в высшей степени; еще больше, когда она описала продовольственную ситуацию дома. Она умалчивала о щекотливом положении в русской оккупационной зоне, но подчеркивала дополнительные поставки из России для бедствующего населения. Она пыталась вселить в нас мужество, рассказывала, что она была также в других лагерях и встречалась с австрийцами; Асбест явился последним лагерем, который она посетила. Я не могу указывать подробные обстоятельства, как это случилось, что она могла посещать лагерь военнопленных, так как мы об этом не спрашивали. Один самый важный вопрос, пожалуй, стоял, перед нами, имеет ли она разрешение взять наши сообщения домой? Она ответила отрицательно, что может только сделать общий доклад. Затем она начала спрашивать - об условиях лагеря и условиях труда, о наших отношениях с немецкой группой лагеря, она спрашивала о санитарном обслуживании и о нормах выработки, и говорила, как нас новое австрийское государство

ждет. Вилли толкнул меня и предоставил слово. Я не умалчивал ни о чем, беспощадно изобразил наше положение, насколько мы опасаемся предстоящей зимы, и какой была норма смертности зимой 1944/45. Фрау Фишер требовала конкретных цифр и осведомлялась также о старых пленниках. Когда её спросили, может ли она наши адреса вынести из лагеря, возникло молчание. "Я сообщу все, что я слышала и видела, моему мужу письменно. Но адреса? Как вы представляете это? Все же, я не могу идти со списком в руке через контроль?". При этом она осматривала меня и каждого в отдельности вопросительно. Угнетающее молчание кругом.

"А если я сокращенно запишу фамилии и федеральную землю на бересте, которую можно свернуть в маленький ролик и легче спрятать; все же, досмотр тела кажется менее вероятным, чем потрошение Вашего багажа". Она посмотрела на меня и сказала: "Это, наверное, возможно". Мы шлепнули воодушевленно руками. Я поспешил в бункер австрийцев и принес из моего убежища хранящийся там резервный ролик. Вилли диктовал, и я писал моим огрызком карандаша, маленькими, как возможно, буквами, но разборчиво. Вилли катал из бересты ролики, шесть штук. Мы почувствовали поддержку и преисполнились надежды. На прощание фрау Фишер подала каждому руку, пожелала большого здоровья и мужества выжить.

Когда я вернулся из плена домой, я узнал от моих родителей, что они слышали мое имя в ходе предвыборного обращения КПА по радио. К сожалению, общественное мнение состояло в том, это - предвыборный трюк, и никакой веры не было подарено сообщением имен. Моя же мать твердо поверила в то, что я жив, умоляла Тирбергерскую (Thierberger) Божью Матерь и просила ее содействия.

" Австрийцам разрешили домой! "

Слух, что австрийцам разрешили вернуться домой, достиг лагеря VIII в конце октября 1945. Сначала неверие, затем радостное настроение, когда старшина лагеря после вечерней проверки саркастично это подтвердил. Днем нас повели в главный лагерь, где в течение двух дней собралось до 150 австрийцев. Мой Бог, как нам завидовали! Многие радовались с нами, но были также такие, которые испытывали черную зависть. Мы образовали рабочие бригады и приготавливали скотские вагоны для транспортировки домой: завозилась солома, кололись дрова и монтировались круглые железные печи. Мы с нетерпением ждали приказ к отправлению два дня и еще третий. Неожиданно приказывают: "Назад в Trudowej (трудовай) лагерь, без комментариев, без указания основания». Я никогда не забуду безмолвный марш в лагерь VIII. Плач близко стоял во мне, также как и ругань. Даже старшина лагеря не знал причины, но он насмешками и злорадными замечаниями особенно причинял боль. Я ненавидел этого человека до крови!

Проходили недели. Между Рождеством и Новым годом вызывает комиссар лагеря. Он чувствовал моё угнетенное состояние; и я сказал: "Почему так поступили с нами? Мои земляки назначены к посмешищу, которое стало невыносимым. Почему не говорят нам правду? Она была бы нам более желанной, чем молчание". Его осторожный ответ звучал таким образом: "Я не могу сказать Вам все, но что-то я скажу, Вы можете передать! Правительство Советского Союза придерживалось в начале мнения, что транспортировка австрийцев домой решило бы все в пользу КПА на выборах Национального совета. Однако, представитель австрийского государства в Москве имел другой взгляд, поэтому правительство отклонило этот проект. Говорить большее, мне не разрешено!".

Я случайно узнал на бригадном собрании позднее из уст человека АНТИФА: выборы Национального совета 25 ноября 1945 ожидания КПА не подтвердили. Он показал мне титульную страницу газеты "Neues Osterreich" («Новая Австрия»), на которой черным по белому перечислено первое австрийское правительство Второй республики -

фамилии, которые частично были мне известны; федеральный совет выбрал президентом доктора Карла Реннера. Вместе с тем мы должны были жить.

Начало декабря 1945. Холодный, ледяной зимний день. 10 бригад, в том числе и моя, были оставлены утром в лагере. И повели нас к вокзалу г. Асбеста, на этот раз, охраняя строже, чем раньше. На ближних путях стоял длинный грузовой состав, с частично открытыми, частично закрытыми вагонами; четыре выделялись каждой бригаде. Я слышал еще крик Natschalniks (начальников) и часовых: "Dawai-pistra!" (давай быстро!), а так как доставленный груз был чаще всего в ящиках, то мы верили, что должны разгружать все со многими предосторожностями и тщательностью. Однако, русские торопились чрезвычайно, вероятно из-за холода, скорее, чтобы уменьшать простой поезда. Теперь все стало нам безразлично. Если глупые русские хотели получить это таким образом - хорошо! Дальше - грохот из железнодорожного вагона. При этом разбились самые большие ящики. На полотне железной дороги лежали детали, часы, весы, прядь кабеля, специальные инструменты, лампочки, жесть и я понимал, что это еще не все. Очевидно, собран был хлам, ценное и бесполезное, и все сгромождено теперь в кучи, повреждено и разбито. Но шуткой дня был большой ящик с упакованной писчей бумагой и несколькими пишущими машинками. У него Natschalniks (начальники) поставили двойную охрану, которая была собственно бесполезной – хотя, конечно, бумага была для нас ценным товаром. Рядом, двумя вагонами далее, складывали большие матерчатые тюки, узлы женской одежды, ящики, полные женских ботинок, пальто и кожаные куртки. Тут снова от нас требовали большой осторожности при разгрузке. Не верится, наряду с этим там были разбитые машины и моторы, но материалы и женские туфли казались русским важнее. Последний вагон, очищенный моей бригадой, был полон попользованными велосипедами и игрушками разного вида, от шахматной доски до лошади-качелей. У других бригад было иное. Нашим заданием было: разгрузка - и с максимальной поспешностью! Нужно видеть гору машин и товаров с фабрик и магазинов. Единственное, что разрешили нам, это взять в лагерь несколько разбитых тарных досок. Кто распределял вывезенное, я не знаю. Якобы все было сложено под открытым небом и занесено снегом. Невероятно! Является установленным, что приблизительно 14 днями позднее, Natschalniks (начальники), а также гражданские заводские рабочие и заводские работницы, начали носить клетчатые синие и красные рубашки и блузы, окна комендатуры получили занавески из такого же материала. Немецкая ткань украсила Асбест. Бригады портных не успевали выполнить заказы.

Несколько дней до Святого вечера в 1945: моя бригада была вновь в асбестовом карьере, на холоде и ледяном ветру. Норма была не выполнима даже при хорошей рабочей воле. Утром, на нашем пути к месту работы, мы поднимали сдутые ветром кочаны капусты, лежащие только в пяти шагах от края дороги. Также и мои люди обсуждали, как можно выскочить из походной колонны, незаметно схватить наполовину загнивший кочан капусты. Я предостерегал, они должны были забыть капусту, риск слишком велик, но каждый считал, что он то может «танцевать» из ряда. Не знаю, был ли я в состоянии отговорить их от этих уверток. Намеренно я ставил жителя Вены перед маршем в середину ряда, так как знал, что он в наибольшей степени неосторожен!

Перед нами "шаркали" две румынские бригады; и когда мы приблизились к определенному месту, где кочаны капусты возвышались над снегом, один из румын прыгнул из ряда. Затрещали автоматные выстрелы, мужчина обрушился на кочан капусты. Конвоир, в колонне охранявший наш фланг, подбежал к лежащему, повернул его носком сапога, и когда увидел, что тот еще жив, выстрелил вторично. Совершенно спокойно он пошел на свое место назад, таким образом, как будто бы ничего не было. Эта холодная демонстративность была страшна. Я смотрел на моих бригадных товарищей, они понимали меня безмолвно. Обоим румынским бригадирам позволили поднять мертвеца, и товарищи понесли его в лагерь. Там он лежал перед комендатурой до вечерней поверки. Ничего красивого! Разорванное на куски лицо появляется в моих

воспоминаниях снова и снова. После переключки, которая на этот раз была сознательно затянута, нам перевели слова офицера: " Конвойный солдат не имеет никакой вины - он только выполнял свой долг! Покидать походную колонну и в дальнейшем остается запрещено под угрозой смерти! Вам предостережение!".

В году имелось только два официальных выходных дня: 1 мая и день Октябрьской революции. Лишь осенью 1946 стали практиковать, иногда, во второй половине дня, привлекать нас к другим занятиям: политические и бригадные собрания, самообвинения, составление резолюций или ещё - культурные полдни в главном лагере. Среди пленников капитуляции было необычайно большое количество работников культуры всякого рода: актеров, певцов, режиссеров и весь оркестр Белградского радио. Из этого формировались культурные бригады, которые были освобождены от работы. Трудовые потери распределялись между рабочими бригадами.

Наши христианские церковные праздники, как Рождество и Пасха, оставались непризнанными. В офицерском лагере были немецкий и итальянский полевые священнослужители. Их просьбы, разрешить заботиться о ближних, были русским правлением отклонены. Во всяком случае, я не видел в лицо за все время моего плена католического священника или евангелического пастора. Я не имел таинств исповеди и покаяния, пожалуй, необходимых для психологического утешения, ободрения и духовного усиления. В этом отношении я принадлежал к немногим, которые не боялись говорить, даже когда издевательство и смех были гарантированы. У них физическое состояние было сильнее, чем психологическое.

Маленькая причина - большое действие

Это был конец января 1946 - вторая половина дня. Сначала политическая муштра, затем обычное собрание бригадиров в присутствии коменданта лагеря, Deschurnyi-Ofizer (дежурного офицера), комиссара лагеря с его переводчицей, Obernatschalniks (высшего начальника) из заводского руководства, людей АНТИФА и, естественно, моего «друга», старшины лагеря. Объединившись, они сидели на импровизированной сцене. Вероятно, давил мой характер; во всяком случае, я больше не мог выслушивать самообвинения бригадиров. Почему себя самого нужно смиренно в грязь бросать, только для того, чтобы нравиться власти? Этого нельзя было больше делать с покорностью. Тот, кто обвинял себя больше других, получал соответствующие аплодисменты! Это было также после обеда. Вероятно, черт оседлал меня, когда я решил сделать своё производственное сообщение. Как предыдущий оратор, (низкий поклон и брючные испражнения), я поднялся на сцену и сделал свой поклон перед господами за длинным столом. Я вспоминаю, что говорил уверенно, только говорил больше бригадирам, сидевшим передо мной. Я, держа речь, коротко и связно сказал: о моей бригаде ничего не могу сообщить существенного. Но нет, я могу высказать жалобы - предписанная норма в карьере и строительстве являлась невыполнимой; я заклеил позором существовавшее предпочтение нескольким бригадам; остро я отсылал к тем "видным деятелям лагеря", которые имея жирные должности, мошенничали; я требовал более хорошего инструмента; смерть румына не была оправдана; и - это я не должен был говорить вообще: я привел доказательства коррупции на рабочих местах.

Больше я ничего уже не добавил, так как комендант лагеря лишил меня слова и проклинал: " Kakaja sarasa! " (какая зараза!). В столовой царил ледяная тишина, никто не подал знак согласия. Несколько глаз смотрели на меня сострадательно, другие злобно или удивленно. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы знать - вслед за моей спиной обратились все головы. Затем я слышу офицера, и голос переводчицы: готов ли я отказаться от произнесенного? Моё " Njet! " (нет!) шокировало, и я добавил к этому, что кто-то должен сказать однажды правду. Здесь принялся старшина лагеря, заметно громче обычного, и назвал меня "проклятым фашистом", подстрекателем и австрийским

оппортунистом. После совещания шепотом переводчица поставила новый вопрос: "Херр полковник хочет знать, Вы готовы признать чудовищные обвинения как ложные?". Я отказался вторично. 48 часов Stehbunker (стоячий бункер=карцер) при полном лишении питания с последующими выводами, прозвучал приговор. Теперь пошло бормотание по рядам бригадиров. Не нужно было гадать, согласие это или неприятие. Лишь руководитель АНТИФА встал и потребовал строгого наказания за ложь и подстрекательство.

Я переступил границы. Wojennoplennyi (военнопленному) право на критику не предоставлено. Внутренне я был спокоен, почти доволен самим собой. Фронты открыли себя, и я пострадал за тех, кто потерял лицо.

Моя бригада обращалась ко мне, думая, что я не на ту лошадь сел верхом и не смогу удержаться в седле. Вили, хотя считал меня правым, суп, однако, не был готов со мной хлебать; он только надеялся, что я вернусь вопреки всему. Также он говорил: мол, я - помешанный, и он меня достаточно часто уже предупреждал, что я должен держать пасть в правильном положении, а моё дурное желание - сесть на толстый сучок.

Вечером после переключки меня назвали и я должен был выступить вперед. Офицер передал переводчице лист бумаги, и она перевела Prikas (приказ) коменданта лагеря, назвав уже проговоренное наказание. Я дал себя увести, сопротивление было бесполезно, и я не хотел предлагать никакого спектакля зрителям.

Карцер состоял из 3 поставленных друг на друга бетонных труб; внутри диаметром 80 см; совсем высоко - 2 тонких выреза, над этим острая жестяная крыша. Часовой открыл маленькую железную дверь; я должен был лечь на снег, чтобы заполнить вовнутрь. Так как я не сделал это достаточно быстро, он помог мне ногами. Подняться в тесном футляре было трудно, при этом - жестокий смрад, так как я стоял на замерзшей грязи и моче. Сначала я приседал, но не выдержал это долго. Ноги начали затекать, ледяная холодная ночь вползала в меня вплоть до брюха. Я начинал переступать, как бы утрамбовывая; это тоже помогало мало! Я прислонился к бетонной стене и хотел уснуть в таком положении. Невозможно, холод бетона быстро проникал к моим ступням. Я начинал думать, реконструировал происходящее, считал от 1 до 100 и снова назад, прислушивался к окружающим звукам; да, а затем я читал «Отче наш», до тех пор пока я не возвращался в реальность. Снова и снова я спрашивал себя, почему я был таким упрямым, искал оправдание и скреплял себя убеждением: все правильно, все правильно! Могут читатели представить, как медленно двигалось время, если стоишь в тесноте, не можешь передвигаться и считаешь шаги на месте? Я искал утешение в том, как жесток карцер может быть летом, при жаре, грязи и смраде. Я искал утешение, которого не было. Я находил положение, которое мог выдержать некоторое время; делал себя прямым как палка и думал, что меньше чувствую холод. Затем снова я двигал пальцами ног в деревянных ботинках, так как чувствовал их неподвижность, и сконцентрировался на этой "игре". Снова и снова я смотрел вверх на прорезь и надеялся самым страстным образом на свет утренней зари.

Затем меня одолел, все же, сон, которому я зря противился. Вероятно, это были один или два часа, когда голос снаружи вернул меня в сознание: " Chudoj njemzy faschista! Kak dela? Schto delaesch? " (Худой немецкий фашист! Как дела? Что делаешь?). Я был в оцепенелости, застывающим от ледяного холода, и смог только сказать: " Da! Da! " (Да). Должен ли был я ответить, что дела шли у меня очень плохо, что я замерзал? Сапог ударил в маленькую железную дверь, и затем следовало обычное, сочное материнское проклятие. Стоило мучительного труда собрать себя. Колени сдавали, боль в сочленениях была хуже, чем мороз в членах. Голод я едва чувствовал; много большим было желание глотка воды. Как великолепно нырять, погружая руки и ноги в горячую воду! Еще небольшие силы были во мне бодрствовать в духовном плане. Я искал места в тексте из Шиллера "Колокол" и из "Лесного царя", но это были только несколько строк стиха, которые я мог вспомнить. Я пробовал судорожно вспоминать лица, которые были

знакомы мне: Эди и Эрих, учителя в учебном заведении, приятели из военного училища и роты саперов; я искал образы моей невесты и моих родителей, шел в мыслях улицами и переулками Куфштайна, вверх к крепости и церковным переулком вниз в переулок Рёмерхоф. Сначала мое мышление было еще ясным, но чем больше я брался за воспоминания, тем расплывчатей они становились. В мыслях я писал письма, полные тоски по родине и безнадежности, - домой и моей невесте. Затем меня охватила большая усталость, и мое умственное бодрствование расплылось, до того, что я не был больше способен ни к какой мысли. Мое ощущение времени исчезло полностью. Была ли это уже вторая половина дня? Когда ожидаемая вторая ночь? В моем подсознании собирались голоса извне, но я больше не был способен подавать признак жизни.

Вторая ночь в моем воспоминании полностью стерта. Только сумрачно я вспоминаю голоса, которые подавали команды. Заканчивалась ли это переключка или возвращались бригады? Мрак в карцере стал темнотой во мне самом. Я помню только, как неожиданно поместил ледяные руки между бедрами, и затем ничто, как пустота, никакой искры воспоминаний больше! Позднее Вилли мне сказал: двое часовых вытянули меня как чурку из бетонной печи и унесли в комендатуру. Мои первые воспоминания являются только тенями. Я лежал раздетым и укрытым на настоящей кровати, узнал врача лазарета и чувствовал, как она белой ложечкой вливала в мой рот алкогольный чай. Затем упал я, вероятно, в глубокий сон - какие-либо воспоминания отсутствуют у меня до тех пор, пока меня не разбудил офицер. Жадно я поглощал Kartoschkasup (суп картофельный), который мне налил часовой, так как я не мог держать жестяную миску. Также не знаю, как долго я уже лежал в теплой комнате, я чувствовал лишь дарованную жизнью теплоту, укутавшую мою наготу в два одеяла. Когда я медленно пришел в себя, в окно светил ясный зимний день. Снова прибыл офицер, приказав мне, чтобы я одевался; я должен быть с рапортом у коменданта лагеря. Он показался сдержанным, но не враждебным, осмотрел меня с верху до низу, и когда заметил, что моё состояние было плохим, разрешил сесть на стул. Он огласил бумагу, это был мой штрафной протокол, и затем поставил тот же вопрос, как до этого, хочу ли я опровергнуть мои утверждения. Он пододвинул мне лист и просил меня, чтобы я изложил мое опровержение письменно. Переводчица, надменная баба, говорила больше, чем она имела к переводу, и присоединяла к этому злое: когда, подлый фашист, научись повиноваться! Меня оставили одного, и я стоял перед решением: должен ли я идти или я не должен идти? Я описал так, что из написанного не вытекало безусловное «Нет», но подчеркивал достаточно обстоятельно, что я не сказал неправду. Прошел Tschas (час), и когда полковнику перевели - в общем, я понял, полностью неправильно - изложенное, он гаркнул на меня: " Wstawai! " (я должен вставать) и вызвал офицера. Из их тихого разговора я не мог извлечь ничего, я слышал только неоднократно слово "Асбест". Перевозили меня в кузове грузовика, который ехал в направлении города, в сопровождении двух вооруженных конвоиров. Руки были связаны за спиной петлей проволоки. Каждое движение доставляло боль, до тех пор пока пальцы не перестали чувствовать. Я еще помню, как привели меня, как самого плохого штрафника, к похожему на монастырь зданию и передали офицеру, который позволил освободить меня от оков провода. Тесная каменная лестница вела вдоль «келий» вниз в длинный проход подвала. Часовой открыл тяжелые дубовые двери и толкнул меня в наполовину темную клетку: никаких нар, никакого стула, лишь на узкой стене маленький зарешеченный люк, даже на окно не похожий. В углу рядом с дверью я нашел ведро, которое было предназначено для естественных потребностей, там же снаружи листовым железом была закрыта стенная дыра. У меня забрали проволоку, которая удерживала мои деревянные ботинки, а также веревку, которая держала мои изношенные ватные штаны. Камера была выпуклая, на несколько сантиметров выше моего роста, мои кончики пальцев достигали потолка. Я находился на чистой глинистой почве, и не оказалось никакой доски, на которой я мог стоять или сидеть. Дважды в день кто-то двигал мне через стенную дыру чашку трудноопределимого супа, а в нем плавали несколько жестких глыб хлеба. Это было все!

Говорят, правда, голод - это лучший повар, мне оставалось рассчитывать только на эффект привыкания – к норме голода! Я ощупывал снова и снова в полумраке пол, не было ли где-нибудь места, которое не так влажно и холодно. Быстро пришло чувство времени, и я считал дни по приемам «корма».

Шесть шагов в длину, 2,5 в ширину, и на земле и на стенах холод. Я чувствовал это уже как облегчение, по крайней мере, мог делать несколько шагов, усталых и изможденных, так как я много сил оставил в карцере. Сон? Принятие желаемого за действительное! Да, я спал иногда, но не спросили бы после, как! Как холоден может быть глинистый пол или стена, влажность которой проявлялась кристаллами льда!

Я верил в господа Бога, в ангела-хранителя и в надежду: терновый венец страдания, голода и холода он мог бы взять у меня! Я не верил в Бога, разрешавшего усиливаться холоду. Если этот чужой Бог был со мной, почему он бросил меня в эту грязную яму, в которой до мрачного времени был молившийся и был постившийся?

Испытывал ли он меня? Хотел ли он побудить меня, сделать меня лучше, сильней? Как, если мой огонь жизни только мерцал? Затем снова слабый испуг: как человек может верить в это? Блаженны терпящие преследование; неприкрытые и испытывающие жажду, они оденутся и укрепятся! Некто существовал, с которым я смог бы говорить, который выправил бы меня и укрепил бы мою веру.

Таким образом, я сидел, как вытолкнутый, которого забыли, как замученный, который не мог больше кричать о своем бедствии.

Я напряженно пробовал вспомнить строки того стиха, который я слышал в лагере, и которые я с трудом снова вместе должен был сложить - рождественское стихотворение, я хотел внести его в мое подземелье:

Ночь темна. Никакого уюта!

Работа зовет. Ты тяжело ступаешь наружу.

Это святой вечер? Ты это не знаешь.

Нет дерева тебе блистающего,

Нет рождественского света.

Ты покинут, чужая страна,

Тебя не обнимет женская рука,

Нет детского смеха, нет любящего сердца

Воспоминания только будят старые раны.

И, все же, святую чету ты знал когда-то,

Хуже - был покинут ею,

Никакого приюта, холодная ночь,

Вечной любви свет принесет.

Еще я мог думать, появлялись размышления и после услышанных шагов, которые раздавались в коридоре подвала. Другие шаги, чем у носильщиков пищи. На четвертый день! Ключ гремел в замке двери камеры. Я был ослеплен обрушившимся на меня светом, из-за этого видел только контуры солдата. Он указал на парашу. Я взял её (она была без ручек), и солдат повёл меня до конца прохода, к открытой уборной; там я смог вытряхнуть содержимое. На обратном пути я обратился к офицеру, его лаконичный ответ был: " Moschet byt! " (может быть).

Прошли следующие четыре дня. Я снова сделал свою утреннюю зарядку. Если я передвигался, то только затем, чтобы упрявиться холоду, чтобы давать небольшое движение моим застывшим членам. Я сидел в положении на корточках и дремал безучастно. Приклад винтовки в дубовую дверь пробил неожиданно, она открылась. Луч карманного фонаря искал и слепил меня. "Dawai" конвойного солдата вернуло меня в действительность! Так как я не встал достаточно быстро, послышалось нетерпеливое "Poschli! Dawai bystreje! " (Пошли! Давай быстрее!). В проходе и на лестнице не горел электрический свет. С моей свободной обувью я спотыкался, искал препятствия, так как часовой сохранял свет карманного фонаря для себя. Только на лестнице первого этажа

горела слабая лампочка. Перед большими дверями - остановка! Несмотря на стук, мы должны ждать. По истечении некоторого времени открылась дверь, и часовой втолкнул меня в большое, хорошо освещенное помещение. Я должен был закрыть глаза, пока не привык к освещенности. То, что я видел, напугало меня. За длинным столом сидели - как при трибунале - 10 русских офицеров, в том числе 2 женщины. Я сразу узнал своего коменданта лагеря, Deschumyi-Ofizer (дежурного офицера) и комиссара лагеря. Другие лица были чужими для меня. Председательствовал, как я понял из последующей речи, городской комендант Асбеста. Его знания немецкого языка были, правда, несколько ухабисты, но для меня достаточно понятны. Это было лучше для меня, чем переводчица, переводящая неправильно.

"Ты садиться!". Пододвинули мне стул.

"Ты называешься!". Я назвал мое имя.

"Как дела идут тебе?". При этом городской комендант смотрел на меня испытующе, как будто бы явился экзотический монстр.

"Ты жалобы имеют?". Я не дал никакого ответа. Снова и снова их дьявольская дерьмовая приветливость; пойти против было тяжело.

"Ты выглядеть не хорошо! Больно? Ты больше не Wojennoplennyi (военнопленный), заключенный НКВД! Понимали ли?". Я кивал: "Da! Da!" (Да! Да!).

"Ты выучил русский язык?" Я отвечал: "Malo" (мало).

"Ты Utschitel (учитель)? Choroscho (хорошо)!".

Эти тупые вопросы во вступлении были известны мне хорошо, из того, что их задают, следовало, что неизбежно будут другие. Председатель копался в лежащих перед ним бумагах, читал указанное и заговорил неожиданно в более острой тональности:

"Ты фашист?". Я сказал решительно «Njet!» (нет!).

Он: "Tscho takoi (что такое)? Ты не Nywmzy (немец)?" Я: "Njet (нет)! Австриец".

Он: "Da, damawstrijez! (= да, австриец!)? Там стоит", он положил палец на лист, "ты большой фашист!". Я это еще раз отрицал. Однако, он сказал: "Tschitaitje!" (читайте!) и рукописный лист протянул мне. То, что я читал, было от А до Z добыто ложью и угрозами. Не хватало подписи, но я узнал тотчас же, что лживая халтура происходила от старшины лагеря. Я говорил яростно: "Наш старшина лагеря - это свинья, хорошо откормленная свинья, которая ненавидит всех австрийцев!".

Городской комендант сделал вид, как будто бы он не понял меня: "Что он?". Я поправился и сказал: "Нехороший лагерный руководитель! Немец, не любящий австрийцев!".

Вопросы и ответы шли туда и сюда: вопросы относительно лагерной и рабочей жизни, национальной ненависти, выполнения нормы, моих отношений с Natschalniks (начальниками) и так далее. Я был слишком уставший, чтобы говорить громко, поэтому снова и снова одинаково сверлящие вопросы. Я не пытался оставаться деловым и спокойным, если и преувеличивал, то ничего не скрашивал. При этом я смотрел на моего комиссара лагеря, однако, он курил свои сигареты и делал вид, что не знает меня. Также комендант лагеря сидел там и скучал. Подчеркнуто спокойно я изобразил еще раз ход собрания бригадиров и сказал в заключении: "Мои выражения были ненадлежащие - за это я прошу прощения. Но я только говорил то, что другие думают!".

К концу вечных расспросов городской комендант сказал: "Ты от нас слышат! Ты в Steharrest (= стоячий арест)?" Я кивнул и был отпущен. С часовым я долго стоял перед дверью. Мне вовсе не становилось хорошо на душе; игра вопросов была слишком темна для меня, я едва имел возможность защищаться.

Когда я снова был вызван, то остался стоять, а городской комендант сказал: "Мы одна комиссия. Ты не фашист, choroscho (хорошо)! Ты говорят мужественно, но ты саботажник! Ты хотят штрафа?". На это я не дал никакого ответа. Затем следовала штрафная дозировка: "Ты назад в аресте; Poledelnik (понедельник), Tschetweg (четверг) и

Subbota (суббота) ничто не едят! Размышление! Раскаianie показывают! - Затем назад Robota-Brigada! (работа-бригада!)"

То, что он не сказал, испытал я в штрафной клетке. С меня стягивают жилет и штаны - "dawai"! Я мог сохранить ботинки. С одеждой он исчез, и я не видел больше ни его, ни мои лохмотья. Должен ли я сообщать, что это значит, в рубашке и кальсонах бороться против холода? На 2 дня хватило остатка сил; я получил жестокий озноб, заметил, что мое лицо пылало в температуре, и я весь был, как сырая собака. Я отказался от приема пищи, так как я больше не был для этого просто готов. Вероятно, это обстоятельство привело к моему спасению; очевидно, это был носильщик пищи, который меня отметил, так как через 2 дня моя «миска для еды» стояла все еще нетронутой на том же месте. Видимо, болезнь охотилась на меня, от беспамятства стремилась к большему, до тех пор, пока бы я не ушёл безвозвратно.

Я проснулся на железной койке в госпитале лагеря. Я узнал Вилли, который держал мою лихорадочную руку, потом позвал Doktorscha (докторшу). Но здесь я был уже снова в другом мире. Только несколькими днями позднее я смог задавать вопросы. Вилли рассказал мне, что я 6 дней назад был привезен без сознания, и руководство лагеря потребовало от врача немедленного помещения меня в санитарный барак. Мой сосед по койке говорил, что три дня за мою жизнь боролись: шприцы камфара, уксусные тампоны и медицинские банки (стеклянные баллоны, из которых удалялся воздух, надевались на мою спину - я имел круглые, сине-черные пятна, как будто бы меня били). Аптека не содержала никакого аспирина, пенициллин был неизвестен, никаких прочих медикаментов, вместо этого порошок, травы и чай; из этого я получал обильное питьё. Хотя я получал только половину пайка, аппетит возвращался медленно, и я не так сильно голодал. Через 10 дней я окреп до того, что смог пробовать ходить, и с каждым следующим днем я чувствовал себя более здоровым. Я ждал дня выписки, так как хотел назад к моим бригадным товарищам. Лагерный врач,- хотя мы, вообще, ненавидели её, вместо того, чтобы понять, насколько в сложном положении она находилась, в зависимости от администрации лагеря и завода, - приходила дважды в день к моей больничной постели, слушала и выстукивала меня, и показалось очень заботливой.

Однако, день выписки из санчасти пришёл для меня неожиданно, когда она написала мне при утреннем обходе, что я на 12 дней годен только для лагерных работ и добавила: я должен прийти в полдень к ней на прием. Я рассчитывал на короткое и краткое извещение, совершенно ее способом, как она обращалась с нами, однако, вышло совсем иначе. Она открыла к себе дверь, и в долгой беседе показала мне свой мир. Была ли это та Doktorscha (докторша), какой я знал её? Я стыдился, раскаивался в каждом злом высказывании о ней и готов даже еще сегодня принести извинение. Она говорила сначала о болезни, что я перенес двустороннее воспаление легких, еще нуждаюсь в спокойствии, чтобы восстановить свои силы, и она предписала мне полную рабочую продовольственную норму на 12 дней. Затем я должен был рассказать ей, почему был наказан так жестко; она подразумевала, что я бы должен быть осторожнее; в Советском Союзе можно было лгать и хвалить, но никогда не подвергать критике - верное слово! С этим она соединила свою трудную ситуацию в лагере, когда комиссия из Москвы сделала вывод, будто бы это ее вина, что медицинское снабжение на низком уровне. Во время войны имелись американские и английские медикаменты, но с лета 1945 поставки прекратились. Дословно на ее хорошем немецком языке: „Врач без медикаментов и инструментов остается беспомощным и может только смотреть, как люди умирают, а мог бы помочь им ”.

Затем её речь пошла о более личном. Ее отцом был бы еврейский городской врач в Холм (Cholm), и когда немцы пришли, вся их семья была бы передана в Цагерц (Zagerz) при Лодзе (Lodz) [14]. Родители настояли, чтобы она и её брат пробрались тайком через немецко-русскую демаркационную линию, и они дошли до Пинска. Там она работала в

больнице; однако, когда фронт приблизился, весь персонал эвакуировали в Казань. Ее брат прибил к партизанам и погиб летом 1943; она же весной 1944 попала в Асбест.

Лагерный врач принесла потертую на продольном изгибе фотографию из ящика и показала мне свою большую семью: Otez (отец), Mat (мать), Dedusehka (дедушка) и Babuschka (бабушка), 2 более молодых сестры, брат, 2 тети. „Они все отравлены газом в Освенциме, только за то, что они были евреями. У меня больше нет никого, кроме себя самой! " "

Я не решился расспрашивать о подробностях, не из-за фильма об Освенциме, а потому что в её голосе звенела печаль, не ненависть, но горечь. То, что она раскрывалась именно по отношению ко мне, я мог понять только таким образом, что она не видела во мне фашиста. Не было другого объяснения. Так она освободила меня от своей заботы.

Снова меня принимала бригада, и я узнал от Вилли, что все 12 просили комиссара, в то время, как я сидел в монастырской келье Асбеста [15], о моём освобождении. Даже если их попытка осталось безуспешной, я воспринял такое отношение, как товарищество совершенно редкой статьи

Дни без работы принесли мне пользу; надоедливими были только вечные расспросы, так как за этим не было никакого сочувствия, стояло только неприкрытое любопытство. Через неделю я был вызван снова к лагерному комиссару. Атмосфера не была дружелюбной, слишком болезненно было воспоминание о недостаточной поддержке при допросе. Мой настрой был ошибочен, так как в действительности он предотвратил самое плохое: я не был проштампован как фашист, и не был помещен как заключенный в тюрьму НКВД. Упрек, что я - саботажник, тем не менее, он не смог отвести. Комиссар просил меня, записать мои утверждения и последствия, которые возникли. Я уклонился. Только когда он подчеркнул неоднократно, что документ определен исключительно для него, я записал, осторожно формулируя, то, за что я мог отвечать.

Когда он мою концепцию заслушал из уст переводчицы, он показался довольным, не требовал, однако, как ни странно, никакой подписи. И заключительное предложение: „Дело закончено. Вы получаете назад Вашу бригаду. Я буду заботиться о том, чтобы Вы и Ваши люди больше не направлялись в карьер и на строительные работы!". Затем следовало самое важное для меня дополнение: „Комиссия сохранила своё лицо - а это имеет значение также и для Вас!". Эта ни похвала, ни порицание, не помещалась в подчеркнута деловую установку. Я был доволен этим!

Nix kulturalna

Комиссар держал слово! Начиная с марта 1946 (по сентябрь 1947) моя бригада имела постоянное рабочее место на асбестовой мельнице - и надежные 100 %. Условия труда были весьма различны, Natschalniks (начальники) и гражданские рабочие злы, так как они не были ни в коем случае расположены на участие к нам. Чем быстрее мы входили в курс дела, тем лучше было для них, так как они находились под таким же прессом нормы, как и мы. Конечно, было различие, работали ли мы на конвейере, в системе отопления или в сортировочном отделении. О чрезмерном вредном воздействии пыли я уже сообщал. Старомодное производство выглядело внутри, как снаружи выглядит серая лепешка из муки. На стенах, перекрытиях и проходах лестниц пыль лежала толщиной в сантиметр. Никто не заботился о том, чтобы её убирали. Моя бригада очень скоро была поставлена в досадную ночную смену - и на 18 месяцев - ритм дня полностью превращался в неразбериху.

Смена продолжалась с 8 час вечера до 6 ч. утра. Я еще месяцы страдал после моего отъезда из Асбеста и возвращения домой от нарушений сна. Лучше было бригадам, которые обрабатывали асбестовую пыль и асбестовую вату, так как там цеха были существенно «приветливей» и не такие пыльные. Plennyi (пленным) никаких противопыльных масок для носа и рта не полагалось; мы не получали также ковша

водянистого молока, как гражданские рабочие. Здесь не было злого намерения - этого просто имелось в наличии недостаточно, и мы должны были смириться с тем, что гражданские лица имели, все же, большие права, даже если они были приравнены к нам по норме выработки. Работа в сортировочных отделениях была самой тяжелой. Бумажный мешок с асбестовой пылью весил 50 кг, а с асбестовым волокном они были больше, но и немного легче. Крепитель мешков постоянно вел к заторам, так как Natschalnik (начальник), который отвечал за крепитель, уходил слишком часто за бабской юбкой и только делал вид, что находится на работе. Работа часами простаивала, так как где-нибудь ломался двигатель или повреждалась лента конвейера. Нам никогда, правда, не снижали процент выработки за простои, всегда было 100 %. Высший начальник, сердитый украинец, был человеком с добродушным и чувствительным сердцем, даже если он и подчеркивал иногда своё высокое положение. Зимой 1946/47 он гнал нас, если мы замерзали в сортировочном отделении или при уборке снега, в отопительный зал, и мы иногда там складывали в штабеля поленья или перелопачивали уголь.

Русская душа часто шла странными путями! В течение этих недель, вероятно, в мае 1946, в главном лагере собирался санитарный транспорт из бедняг, которые были безнадежно нетрудоспособны: пленники с голодными отеками, флегмонами, с ампутациями рук и ног, с меланомой, с пылью в легких и так далее; среди них, достойных сожаления, также было несколько австрийцев. Для русских они были более не пригодны! Не все те, кто оставаться в лагере, желали возвращения домой полумертвым. Не было недостатка и в завистливых голосах, прежде всего, некоторые возбуждались из-за отбора. С тех пор как я познакомился с Doktorscha ближе, я воздерживался от какой-либо критики. Она лучше знала, кого отнести к "счастливым" ("несчастливым")!

Я могу вспомнить только о двух попытках побега. Один произошел после таяния снега, другой летом 1946. Несмотря на частые предостережения, это были, прежде всего, неисправимые румыны и венгры. При этом каждый благоразумный мог вычислить, что такое рискованное предприятие было бессмысленно. Кроме того, русские не ленились и всегда возвращали труп беглеца для устрашения в лагерь. Если проверка подтверждала, что произошел побег с рабочего места, весь состав лагеря, "лагерная иерархия" включительно, сразу ставились на полурацион, так долго, пока сбежавшие не были - живыми или мертвыми, снова в лагере.

В первом случае это были два венгра и румын. Мы прибыли из ночной смены с асбестовой мельницы, не могли пройти через лагерные ворота и должны были ждать. Подъехал грузовик. Часовые сбросили 3 трупа перед входом в лагерь. В 7 часов утра бригады выходили и должны были пройти около трех мертвецов. Ужасный вид, но никто не имел искры жалости. Для нас заканчивались четыре дня голода. Голод был сильнее, чем смерть!

Второе происшествие случалось в середине июля 1946. Слава богу, я не стал очевидцем. Но то, что я слышал утром, взрывало все представления о жестокости. Через 10 дней думали уже о том, что отменят голодный рацион, и я даже тайком надеялся, что трёх румын не найдут. Вечером 13 дня трое беглецов были возвращены в лагерь, уже больше не ходячими. Румынская лагерная группа должна была образовать шпалеру (выстроиться стенкой); трое ползли на своих четырех костях и смертельно топтались ногами собственных земляков. Эта жестокая система устрашения, видимо, считалась лагерным руководством самой действенной. Она была усилена посредством того, что другие национальные группы должны были на это смотреть. Это не оправдание, если я упоминаю о том, какой степени достигли в лагере безрассудство и ярость. Именно это было тем, чего хотело достичь управление русских лагерей - чтобы пленные не делали большого различия между правом и несправедливостью, чтобы эгоизм погашал какое-либо правосознание. Было страшно, насколько мы быстро переходили к текущим делам, как будто бы ничего не случилось. Это психическое ожесточение показывало, насколько

глубоко уже многие из нас погрязли в болоте, из которого они больше не выходили. Этот акт самосуда служил также и для того, чтобы русские смогли отмыть свои руки.

Скованное однообразие работы делало пленников не только бесчувственными, но и так притупляло, что не могла появиться никакая благоразумная беседа. Хуже всего в нашей бригаде было хозяевам ресторанов, так как они испытывали наслаждение только от еды и удовольствий, которые давно стали нам чужими. Слушать их стало мучением. Жители Вены были хуже всего! Всё только самообман, от которого никто не стал сытым, только чувство голода получало новую подпитку. Когда пленники капитуляции пришли в главный лагерь, Советы задействовали музыкантов, певцов и деятелей искусства в соответствующих культурных бригадах. Впоследствии была образована отдельная бригада, которая производила музыкальные инструменты (с помощью главного управления); другая писала тексты и ноты по памяти, и скоро начались оживленные репетиции. Установленную цель, что каждый трудовой лагерь должен был пребывать раз в месяц в наслаждении культурного вечера, нельзя было осуществить, поэтому нашли другой путь и разделяли предложение по национальностям. Из-за моих ночных смен на мельнице возможность радоваться творениям я получил только 4 или 5 раз. Звучит невероятно, соответствует, однако, правде, оперетта „Weißes Rößl" принималась с воодушевлением. А как ужасно смешны были женские роли! Я хохотал от души. Скоро, однако, пьеса „Бедность " Антона Вилдганса была изъята из программы. Также был отличный театральный художник. Менее охотно и внимательно я слушал так называемые „Венские вечера ". Я люблю старую венскую песню, однако, меньше - ворчащую, больше - струящуюся винным наслаждением. "Грецкий орех", „Wegerl ins Helenental", "Песня извозчика ", новая музыка - жители Вены в нашей группе плакали, полные тоски по родине, а после – песенный «бокал вина».

Один из музыкантов, австриец, который играл перед войной на Белградском радио, рассказывал мне, как часто их приводили уже ночью в русское правление лагеря, чтобы исполнять пьяным от водки, горланящим, пляшущим русским офицерам, всегда после этого требуемые песни - "Песню Волги", „Do swidanja (до свидания)" и "Калинка".

Незабываемым остается для меня конвойный солдат с великолепным природным голосом, который зимой 1946/47 г, толи от скуки, или от холода, пел песни морозной ночью. Диапазон голоса был силен, от высшего тенора до самого глубокого баса. Песни солдат Красной армии были неизвестны мне. Были, однако, те, которые я знал от хора казаков Дона: "Бурлаки Волги", „Стенька Разин", „Московскими ночами", „Тройка" и другие. Странно трогали меня - вроде плача - „Видел юноша маленькую розу" и „Добрый вечер, хорошей ночи" по-русски, это нужно слышать и чувствовать, песни родины из русского горла, где тоска по родине солдата, который стоит не на берегу Волги, а на наблюдательной вышке. Он пел для себя самого, не для нас. Или, может быть, все же и для нас?

Скверно пели песню волки, которые приближались в зимнюю ночь к лагерю. Их вой останется всегда в моих ушах. Стаи, приводимые голодом в движение, кружились вокруг лагеря, сидели в снегу и выли на луну. Если это был глупый часовой, он стрелял в стаю. Зов из тайги также настраивал трёх волков, которых комендант лагеря держал рядом с комендатурой в клетке. Ужасные животные, которых я не мог переносить - их желтые глаза, растрепанная, серо-коричневая шкура, их запах волка. Кормление, в большинстве случаев во время поверки, было мне противно. Там кормились волки, в то время как мы стояли на холоде и истощенные тела кричали от голода. Противоречия резче не могло быть. Страшно думать, что наши мертвецы лежали снаружи в лесу, зимой волкам на пропитание, а летом их поглощало болото.

В главном лагере находился австриец, учитель немецкого языка и истории в гимназии, с которым я коротко познакомился. При первом контакте возник обмен мнениями о бригадире, который также работал в ночную смену на асбестовой мельнице с его группой. Снова и снова мой земляк побуждал меня к рискованному предпрятию -

писать "Andreas-Hofer-Spiel" для культурной бригады, к которой он принадлежал. Даже если он переоценивал мои исторические познания, то я вообще не владел никакими драматургическими знаниями и не имел капли театральной крови в себе, это было для меня умственным упражнением. Смутно я вспоминал о „ Erler Andreas-Hofer-Spiel " от Антона Липпа, которую я дважды просмотрел в течение молодых лет. Моим последним, уже только робким возражением, было то, что у меня нет карандаша, но это для него не было никакой проблемой. Я добывал бумагу сам; на мельнице крал новые асбестовые мешки, резал ножницами на листы. А затем я "весело" писал. Мои каракули не имели бы сегодня перед знающими глазами никакого достоинства, в исторической последовательности и в действующих героях отсутствовали характерные детали, и в конечном счете я потерялся в страстном героизме. После нескольких недель я передал ему мою рукопись. Долго я не слышал ничего, затем я получил сообщение, что культурная комиссия классифицировала мою драматическую попытку как "интересную", но о постановке нельзя было думать - слишком часто свобода, вера и самооборона выдвигалась вперед; и в конечном счете труппа не смогла бы сшить необходимые костюмы. Я не был ни в коем случае разочарован, опыт значил для меня больше. Игра с мыслями была „умственным питанием ", по которому я тосковал уже долго.

Комиссар лагеря был проинформирован лучше всех, знал о моей писанине. И я бы не удивился, узнав, что мои листы были ему переданы на проверку. Я еще помню, как мне перевели его слова: „Читайте лучше историю КПСС, там речь также идет о свободе, о свободе пролетариата!". Не было ли это замечание достаточным доказательством того, что он держал мою рукопись в руках? Только я еще не знал тогда, что он очень хорошо мог читать на немецком языке. Я получил самое новое, неоднократно описанное и к текущему времени приспособленное издание „Истории КПСС". Не скажу, что прямо-таки питался книгой. У меня, однако, вопросы и сомнения появились, в части логической последовательности, в том числе. Что-то из прежних разговоров перерастало в политически и исторически окрашенные дискуссии. То, что за этим также стояло целенаправленное намерение, я понял гораздо позже.

Еще слово о гигиене. До тех пор, пока шла война, требование гигиены тела оставалось вне русской сферы интересов. Не считали мертвецов; дизентерия означала лишь убыток рабочих рук. Только после окончания войны рабочая масса получила более высокую значимость, и изменялись - даже если и очень медленно - гигиеничные условия. Уничтожение насекомых было сопряжено с бритьем всех частей тела; имелась дезинсекция химическими средствами, которая применялась только после большой эпидемии тифа. В лагере существовали три бригады парикмахеров, и так как не было никакой возможности бриться самим, имелся календарный план, когда соответствующая бригада призывалась к этому. Период мог составлять 8 или 10 дней. Иногда бритье становилось кровавым делом. Сначала имелись два барака для мытья. О краже маленького локомотива для получения горячей воды я уже сообщал. Постоять один раз под душем за три недели, и только на одну или две минуты, в зависимости от величины напыла, стало верным наслаждением. Маленький, в лагере произведенный кусок мыла, только смазывал и неприятно пахнул. Стирка белья (рубашки, кальсон, портянок) требовала некоторой хитрости. Я, по крайней мере, имел счастливую возможность погружать своё белье в горячую воду, хотя бы летом, в топке на асбестовой мельнице. Многие из новых имели зубные щетки; мне хлеб обмена был ценнее, чем уход за зубами, так как к жеванию всё равно ничего не было. Большой проблемой был уход за ногтями. Я просто откусывал ногти; было труднее сделать это с ногтями пальцев ног, прежде всего тогда, когда они сгибались и вращались в тело. Я приспособил отслуживший напильник, с помощью которого я справлялся наполовину. Другие были беднее. Тот, кто сдавал себя сам и больше не использовал гигиену, принадлежал к списанным. Определенная мера в поддержании самого себя, вопреки общему отупению, была жизненно важна.

Лето 1946. Семена шпионии взошли. На большом сборе назывались имена. Упомянутые должны были выступить вперед, освободить руки и высоко их поднять. Тот, кто носил вытатуированный знак SS или Waffen-SS, должен был отойти в сторону. Таких было, пожалуй, 50; в том числе не только немцы, также двое австрийцев, один эльзасец и три венгра. Боязливый вопрос: что произошло с ними? Затем должны были выступить вперед те, кто принадлежал к полевой жандармерии. Шепот шел между нашими рядами, так как это отчетливо и наглядно показывало нам предательство. Как часто я напомнил в пределах австрийской группы, что нужно быть осторожным, не гордиться своими подвигами, так как где-нибудь определенно ожидал с нетерпением шпион - даже если мы вытянули несколько разоблаченных из своего круга, другие занимали их место. Я не осуждал никого, так как и сам также мог быть завербован, только из-за пары валенок оказаться в этом болоте. Часто они могли стать предателями или шпионами только ради незначительных преимуществ, я учился делать различие. Мне было горько за них, так как их участь оставалась, прежде всего, неизвестной. Именно эта неизвестность вела их к самоискажению и самоубийству; я знаю о трех случаях из немецкой и испанской групп лагеря. Русское управление лагеря реагировало болезненно, угрожало жесткими наказаниями, так как, очевидно, они боялись, что число самоубийств будет расти.

Прежде чем я убыл осенью 1947 из лагеря VIII в Красногорск, я должен был увидеть еще одно осуждение по „текущему тому“; соответственно 10 человек были вызваны в комендатуру. Приговор звучал - 25 лет штрафных лагерей, и они больше не пленные, а штрафники! Они сразу были отделены, не выводились на работы и исчезли из лагеря ночью. Русские делали это очень скрытно, и мы не узнали от лагерной комиссии ничего более точного. Только в 1949 г солагерник, житель Каринтии, сообщил мне, что он испытал после осуждения: Он был помещен в тюрьму вблизи от Москвы, не допускался к работе; монотонность изолированности и неудовлетворительное продовольственное снабжение были жестокие; также по воле управления тюрьмы, он должен был делить камеру с осужденными русскими гражданскими лицами, среди которых господствовал только закон сильнейшего, что изматывало его. Он еще имел большую силу не поддаться политическому давлению. Совершенно неожиданно для него был помилован и тотчас же отправлен в сентябре 1949 транспортом домой. Он приписывал своё досрочное освобождение вмешательству австрийского правительства и Красного креста, однако, он не владел никакими доказательствами. Это может быть даже отдельной историей, я привожу это, чтобы показать, как жестоко НКВД ломал об него палку, без того, чтобы проверить действительно, были ли они, военно-полевые жандармы, виновными в преступлениях. Я слышал также и мнения, что перепроверка каждого единичного случая была для русских невозможна, поэтому общее осуждение было более простым путем.

В воспоминании осталась у меня беседа с комиссаром лагеря, когда я обращал его внимание на то, что - что из Ваффен-СС не всех нужно под один гребень стричь, так как многие были призваны без их согласия. Но тут я натолкнулся на сопротивление. Для него был только рунический знак, и кто носил его - военный преступник. Так это просто!

Осень 1946. Снова эпидемия. Внезапно вспомнили о немецких врачах-специалистах в офицерском лагере и распределили их по трудовым лагерям. К нам прибыл главный врач, который делал вместе с Doktorscha (докторшей) все, что было возможно человеку. Тем не менее, вторая волна большой смертности началась в лагере VIII. Тот, кто был годен только для лагерных работ, никакого шанса выжить не получил. Сначала это были отдельные случаи, которые наполняли барак лазарета, но внезапно эпидемия распространилась. Больной ли, здоровый - все брились, и предметы одежды, которые были завшивлены больше всего, были сожжены. Также и у меня показались симптомы: головные боли, высокая температура, упадок сил и сыпь, которая исходила из мышечных впадин и распространялась по всей верхней части туловища. Голод переходил в полное отсутствие аппетита. Каждый кусочек хлеба, каждая ложка супа стали мучением. Я теперь сам нуждался в поддержке, которую я давал другим. Смертность

подскочила на высоту и достигла своего апогея в начале декабря. Имелись дни, когда из лагеря никакие рабочие бригады больше не выходили. Если я говорю, что мы прививались, это конечно, не является правильным наименованием. Врач лагеря получил выделенную сукровицу, имевшую очень неприятные сопутствующие явления. Я спрашивал себя, почему мы получали шприц между лопатками иглой, которая подошла бы скорее ветеринару. Не было изменения иглы ни для кого. Сукровица в нашем теле якобы должна была произвести лечебную сыворотку, от того и сопутствующие явления, которые простирались от временной слепоты до симптомов паралича в руках и ногах. При этом я еще хорошо отделался, так как страдал лишь одну неделю от болезненной неподвижности затылка. Я могу вспомнить, что даже вечерняя проверка отменялась. В лагере зловещее спокойствие господствовало в течение критических недель. Тот, кто стоял еще наполовину на ногах, носил для больных еду, столовый барак оставался пустым.

Австрийская группа потеряла в течение этих зимних месяцев 12 товарищей, которые вовсе не болели в лагере раньше. Вилли показал мне позже карточки умерших, так как к тому времени командиры отделений получили разрешение на регистрацию. Еще выше была смертность в маленьких группах лагеря - у румын, венгров, итальянцев и испанцев.

Эпидемия принесла для меня – может и нельзя так говорить - также и кое-что хорошее: мои совершенно завшивленные телогрейку и штаны предали огню, а я получил лучшие предметы одежды, чем были. Трудноопределимые пятна грязи не мешали мне никоим образом. В середине декабря мы получали на завтрак таблетку - почему, я не могу сказать. Я глотал их с мыслями: если она помогает, хорошо, если нет, тогда это безразлично.

Это могло бы быть во второй половине декабря, когда я с разношерстной бригадой возвратился снова к работе в асбестовую мельницу. Сначала гражданские лица боялись каждого сближения, только украинец не имел никакого страха перед нами. Он обнимал меня, его жесты выражал радость.

Реконструкция тех болезней, которые перенес я и которые изводили меня: я держался принципа - оставаться в той степени здоровья, чтобы еще мог работать. Это может звучать сомнительно, но это было - по меньшей мере, для меня - единственным рецептом к существованию. Я мог привыкнуть к голоду, но перед серьезным заболеванием я имел адский страх, так как я знал о неудовлетворительном состоянии медицинского обеспечения. Еще долго после эпидемии дизентерии я страдал от чего-то, вроде бактериальной дизентерии, которую нельзя было вылечить - она должна была пройти самостоятельно. Водянистый стул был смешан с кровью, гноем и слизью; при этом - частое стремление к опорожнению кишечника. Во время марша к месту работы и обратно, например, я не мог выйти из строя, испражнялся просто в штаны. Одним из инкубаторов распространения болезни были отхожие места. Кто думает, что там имелась туалетная бумага, тяжело вводит себя в заблуждение. Вместо "Arschwisches (средство для вытирания задницы)", я брал снежки или собирал весной листья.

В 1944/45 годах расстройства сознания нападали на меня снова и снова на несколько секунд, но также и больше. Я должен был садиться и мог только выжидать, до тех пор, пока снова не начинал ориентироваться. Люди моей бригады знали об этом и обращали внимание на меня, после того, как я упал однажды в котлован и не знал, в своём беспомоществе, почему. Болезненным было воспаление слизистой сумки (бурсит) в правом локте; оно вероятно, вызвано дроблением камня в карьере. Опухоль была восприимчива к движению чрезвычайно, и каждый удар молота действительно причинял боль - но выполнение нормы было важнее! Карбункул в спине: это были всегда несколько фурункулов рядом. Сначала места опухали, краснели, до тех пор, пока не образовывались гнойники. Вилли был мастером в выдавливании нарывов. Гигиеническое содержание в чистоте, конечно, не было возможным. Никогда до конца не вылечивалась после

дизентерии дурная вялость кишечника. Я имел трудности, стул был вязкий и липкий, и его проход сопровождался вздутиями и судорогами живота. Я винил однообразное питание, также и потом, когда нарушение кишки переходило в диарею.

Об массовых обморожениях и о взаимном контроле я уже сообщил. Даже при самой большой внимательности, я также не остался пощажен воздействием низких температур. Прежде всего, те места, которые были незащищены (нос, уши, кончики пальцев и пятки), я сильно обморозил зимой 1944/45. Слава богу, не дошло ни до какого отмирания частей ткани, но размораживание и многодневное продолжительное покраснение были болезненны. Я думаю о тех, кому ампутировали пальцы ног и рук, и без наркоза - сильный глоток водки и деревянный брусок в зубах должны были оказать аналогичное действие.

Мое шаткое состояние веса приводило меня - в большинстве случаев весной - к нарушениям равновесия, которые наступали совсем неожиданно; я брался за любую опору, которая была поблизости, или товарищ подхватывал меня и помогал идти или стоять. Неохотно я вспоминаю о долгом ожидании при проверках; там было, что я упал на нос. Летом, после бритья волос на голове, и это было усугублено зноем, я получил отвратительную гнойную экзему. Сначала красные пятна, из этого образовывались пузыри, которые быстро с треском вскрывались, опорожнялись, и желтая корка отставала. При этом зуд был еще опаснее, так как передача другим частям тела была последствием. Из асбестового мешка я сшил себе головной убор, так как не должен был видеть каждый, как дурно выглядела моя кожа головы. Занес ли я инфекцию бритьем или причина - зной, я не решаюсь утверждать. И то и другое возможно.

Недостаток в витамине С: я тоже страдал от этого, правда, не так долго и сильно, как другие солдагерники. Я вспоминаю их кровотечения под кожей ног и рук; и если инфекция присоединялась, или конечности вскрывались, я мог смотреть только беспомощно на это. Никакого прекрасного вида! Я вижу их передо мной, как они отрывали заклеенные бумажные ленты и проверяли, что было еще применимо из этого.

Сегодня я еще удивляюсь: почему никогда не было кариеса зубов, так как нормальный уход за зубами не был возможен. Однако, кто прибывал уже с поврежденными зубами в лагерь, не могли рассчитывать ни на какого зубного врача - кусачки ждали их.

Летом вплоть до осени чесотка мучила меня. Эти проклятые клещи, которые въедались в кожу и оставляли там свои яйца, в большинстве случаев в заднем проходе и в половых органах! Зуд, особенно вечером и ночью, стал невыносимым; я мог только царапаться и царапаться снова, до тех пор, пока я не научился нащупывать дрянных животных, выцарапывать их ногтями из кожи. Мой пенис был сильно красный и исцарапан до ран. Против не имелось никакого средства, по меньшей мере, в аптеке лагеря. Действительно не хватало простого и очевидного, которое было бы помощью нам. „Человек, помогай себе сам! ", это было единственной возможностью. Даже если я должен был переносить всевозможное, было легче, если я видел других товарищей по несчастью, которые должны были терпеть много больше. До какой скудности может опускаться человек, чтобы сохранить еще искру воли к жизни! Когда гас и этот огонь, бедняге не было спасения - он прятался в себе, чтобы умереть одиноко! Это звучит жестоко, но нет никакого мягкого слова для этого. Не только голод, холод, чрезмерная работа и тоска по родине разбивали человека, также - безнадежность и собственная установка. Можно было привыкнуть к голоду, защититься от холода наполовину, выполнять норму выработки или нет, но кто прогрызался тоской по родине и сдавал себя сам - к нему бесполезно было обращаться. Я мог наблюдать стадии, вплоть до окончательного решения, достаточно часто. Я вижу еще штирийца (жителя Штирии), как он повесил голову. Он даже плакать был не способен. Его глаза стали стекловидными, смотрели в пустоту и узнавали «находящихся на обороте», - не больше. Эта медленная смерть, невозможность помочь, стала кошмаром. Я видел много страшного и испытал, но я никогда не чувствовал этот безнадежный уход как освобождение. Я обвинял нас, военнопленных, что в нашем

стремлении к самосохранению мы сделались животными - суровыми, бесчувственными. Я поднимал над головой, так высоко, как я был в состоянии делать это, предложение - оставаться человеком. Здесь находилось самое большое самообладание и преодоление - я не хотел ползать. До тех пор пока я мог держаться прямо, я не хотел уклоняться от участи. Возвращение домой и встреча должны были быть!

1947 год. Этот год принёс улучшение условий, но также и горькие ограничения. Асбестовая мельница оставалась по-прежнему моим рабочим местом, хотя я должен был дважды сменить бригаду. Мои отношения с Obernatschalnik (высшим начальником) и гражданскими лицами значительно улучшились, не только из-за некоторого знания русского языка, но и потому, что мы находились при грузе равных условий труда. Norma wyrobotki (норма выработки) снизилась после многих жалоб, оплата гражданских рабочих несколько приподнялась, но согласно моему пониманию она была все еще достаточно скудна. Рабочая инспекция из Свердловска дала к этому толчок. С секундомером в руке измерялась каждая технологическая операция и протоколировалась. Моя бригада, правда, не достигла ожидаемого темпа работы, потому, что наша работа была более точной и добросовестной, это не было отражено снова, как наш недостаток. Последствием было, что нормы в ленточном контейнере и в сортировочном отделении сбросили на несколько процентов. Это определенно не было единственно моей заслугой, украинец внес своё для этого. Он хвалил меня «за зеленый клевер» (переносное значение: восхвалял до небес. - Ю.С.), так как оценка, которую получила моя бригада, укрепляла также его сферу власти. Плохой результат показала сама заводская линия; там имелись рекламации. Поэтому два дня потратили, чтобы очистить мельницу внутри и снаружи. Моторы, которые отдавали свой дух снова и снова, заменялись, а также несколько улучшилось ночное внутреннее освещение. Моя просьба насчет дыхательных масок занесена была, правда, в протокол, но осталась при „Moschet byt" (может быть).

Существенные изменения происходили в самом лагере. Сносились земляные бункеры, организовывались отдельные бригады плотников, которые соединяли сборные элементы барака; один за другим, постепенно. Столовый барак и барак лазарета расширялись, существенно улучшились моечные установки. Дежурные сокращались, и те бригады, которые выдавали более 100 %, получали Propusk (пропуск) и могли ходить без конвоя к рабочему месту. Также это было большим облегчением. При вечерней поверке смолкал все чаще стук старой «вычислительной машинки». Лагерное управление заметно доверяло сообщениям старшин бараков, вследствие этого долгое ожидание во время счета укорачивалось до получаса. Это больше не было рекордным временем. Фабричное строительство развилось между тем; в общем, не сказать, что мы при «празднике конька крыши» присутствовали, но и я еще застал, сопровождаемый многими грустными мыслями об грязных ямах и о трагической заводской беде, как монтировались первые американские машины и токарные станки. Водонапорная башня возвышалась уже над фабрикой. То, что действительно производилось в заводских цехах, я этого не застал - якобы трактора и сельскохозяйственные машины.

Бритье волос на голове приостановилось летом окончательно; только те, кто непременно хотел этого, брился. Волосы на голове были дороже мне, чем плохо пахнущий ужасный гнойный лишай.

Тем, кто нес по-прежнему и демонстрировал свою власть, был немецкий старшина лагеря. К сожалению, я никогда не решался плюнуть ему публично в лицо. Я не знаю, смог ли бы я сделать это или нет, но желание было. Я даже не имел большего желания, чем это. Другие угрожали ему, обещали отдать его под суд, если немецкие пленники вернутся домой. Я воспринимал угрозу серьезно, даже если я не знаю, осуществилось ли это когда-нибудь. Если я ненавижу сегодня еще кого-то, это Gaucho[16] и старшину; это были людские живодеры, которые шли бесцеремонно по трупам.

Мысль о бегстве полностью потеряла силу в лагере; это больше не было темой разговоров. Улучшения способствовали этому, но также и надежда на возвращение домой выросла.

Обусловленный большим неурожаем в западной России комплект продовольственного снабжения опускаясь, и числа на доске объявлений качались между 800 и 1 000 калориями в день. Имелось, правда, большое ворчание, однако было много бригад, которые достигали нормы 100 %. Это не было полной компенсацией, но, по крайней мере подтягивало слабые бригады для улучшения показателей. Господа от "иерархии лагеря" должны были также прижаться, но это только приносило пользу их животам. Страстная экономия продолжалась до позднего лета, и не намного лучше жилось гражданским рабочим. Хотя они имели возможность засаживать сады при домах, чтобы как-то улучшить своё питание. Охотно я вспоминаю о Obernatschalnik (старшем начальнике), который совал мне время от времени помидор или огурец. Он больше не живет, но в моих воспоминаниях он продолжает жить, украинец, очень особенной статьи.

Это было, вероятно, в конце апреля 1947, наступило таяние снега, вдруг после проверки были вызваны старшины барачников, и каждый получил, точно сосчитанные, сложенные карточки, на которых были обозначены Красный крест и исламской полумесяц - почта домой! К сожалению, недоверие было больше, чем удивление. Также в группе австрийцев были некоторые, которые видели за этим только трюк пропаганды русских. Вилли и я пробовали всех, которые хотели разорвать карточки, отговорить от этого. Многие делали это. На передней стороне карточки было место для родного адреса, а на обратной стороне находилось 3 занятых текстом строки, о которых я большего ничего не помню, и под этим 2 пробела. Как раз достаточно место, чтобы написать: „Я жив! И дела идут у меня хорошо...!". Эта первая акция была ударом по воде, но каждый конец месяца распределялись новые карточки, и все больше было готовых подать признаки жизни. Только в Красногорске и в Можайске я получил первый привет с родины. Это не было обманом, даже если почта доставлялась долго, до тех пор, пока она не достигала меня. Моя мама рассказывала мне после моего возвращения домой, как она хваталась за каждую соломинку, чтобы получить уведомление Красного креста и различных учреждений вермахта, жив ли я еще. Она никогда не теряла надежду и давала её таким же матерям, которые получили только декларацию о пропавшем без вести. В слове "пропавший без вести" такой большой страх и надежда находились; я верю, что мы, военнопленные, никогда не поняли до конца значение этих слов; только уже потому, что мысль существования отодвигала все другие. Я узнал позже от военнопленных из других лагерей, что они не только получали заработок рублями, также им дали на полгода раньше возможность писать "карту жизни". Но всё, что лежало за Уралом, находилось на большом удалении от организационных центров.

Было также новым, что в пределах австрийской группы лагеря маленький круг обсуждения образовался, чтобы несколько прояснить, прежде всего, междувоенное время. Идея происходила от Вилли, и я поддержал его, как мог, хотя дискуссии сторон казались часто непреодолимыми. Это был уже успех, что вообще собирались к беседе.

Было ли это в апреле или в мае? В лагере внезапно возник слух, что в главном лагере появились будто бы женщины, немецкие военнопленные (помощницы вермахта и бывшие сестры Красного креста); от остальных Plennyi.(пленных) едва отличавшиеся тем, что они были подстрижены наголо. Они заменили мужской персонал в прачечной, в мастерских и на кухне, однако, не направлялись в концевые лагеря. Я никогда не увидел их, могу сообщить поэтому только то, что я слышал.[17]

В то же самое время - во второй половине дня - житель Майнца из немецкой группы лагеря обратился ко мне и попросил, чтобы я принёс ему красивые камни асбеста из асбестовой мельницы. Так как он был годен только для содержания в лагере, то искал себе самому занятие и имел намерение построить солнечные часы. Я не знал о его профессии, узнал, однако, скоро, что он понимал ремесло.

Для меня было легко достать необходимые камни, хотя его солнечные часы имели диаметр почти 2 м. Собственно, это достаточно трудная работа, соединять маленький камень с другим маленьким камнем, чтобы получились геометрического образца римские цифры от 8 часов утра до 6 часов вечера. Всегда во второй половине дня, пока не начиналась моя ночная смена, я помогал ему, так как работа мне нравилась. До сих пор я знал только солнечные часы у старой стены церковной башни. Однако, он насыпал плоско-наклоненную земляную насыпь и работал без рисунка. Я удивлялся, как он делил круг таким образом, что из этого в конечном счете возник орнамент, который окружал восходящее солнце. Только там, когда я помогал ему, мимоходом мне пришла мысль, связанная с известной поговоркой: „Делай это как солнечные часы, считай только веселые часы!“. Произнесено и также сделано! Снова и снова зрители объявлялись и смотрели, нет ли халтуры, давали заключение. Не так старшина лагеря. После переключки поставил он меня к позорному столбу перед всеми пленниками и обозначил, как неисправимого пораженца. Даже если он не получил никакого согласия, он тянул меня на следующее утро к комиссару лагеря и повторял там своё обвинение, дескать, это дерзость выставлять веселые часы. Комиссар позволил перевести приблизительно так: „Если Вам поговорка мешает, то Вы ищите другую и ставите её! Я не нахожу возражений - а теперь Вы можете идти!“. Это было удовлетворение - видеть унижение старшины! Как он ни пытался указать на опасное качество этой поговорки, комиссар улыбался беззлобно, имея ввиду, в свободном переводе, - „Знаете Вы лучше?“. Тем дело и закончилось. В своей досаде старшина приказал мне, чтобы я вывел Лагерштрассе метлой из хвороста. Я отказался и сказал, что я имею право на несколько часов сна, кроме того, комиссар лагеря этого не приказывал; затем дословно его любимый приговор: „Ты являешься и остаешься австрийским засранцем!“. Да, это верно: я не любил его, а он меня еще меньше! В солнечных часах ничего не изменилось, они показывали те веселые часы, которых мы ожидали.

В августе перешел я рубеж, к которому не стремился. Вновь у комиссара лагеря, обыкновенные вопросы о моем самочувствии, о рабочем месте, и как я справляюсь с Natschalniks (начальниками). Я мог сообщить только хорошее, жаловался лишь, что бригада не оснащена все еще дыхательными масками. Эта вторая половина дня будет оставаться для меня незабываемой.

Комиссар знал, конечно, о моем австрийском кружке, и вопросы, которые он задавал, не вели к диалогу и обмену мнениями, скорее он расспрашивал меня и хотел познакомиться с моей аргументацией. При этом бросалось в глаза мне, что он возвращался снова и снова к февралю 1934, сословному государству, «доллфюсморду» [18], к дням марта 1938 и к национал-социализму в Австрии. Он не прерывал меня, поэтому я не мог разобрать его собственное мнение. Однако, я заметил, что он очень хорошо знал мою политическую и христианскую позиции, а сегодня я еще и убежден, что он принимал их. Конечно, я не мог предположить, какую действительно цель имел комиссар, с его вечными расспросами; я верил лишь, что это имело отношение к моему дискуссионному кружку в пределах австрийской группы. Он не спрашивал также о политических установках моих приятелей. Тем не менее, я должен подчеркнуть, это не была беседа со шпионом.

Переводчица «перегружалась» снова и снова, так как политические отношения были чужды ей, поэтому комиссар должен был вмешиваться с объяснениями, он хотел знать мои высказывания более точно сформулированными.

Только через добрых 3 часа он назвал настоящую причину нашей политической беседы. Я упал со своих облаков, когда он объявил о намерении направить меня в Красногорск, чтобы посещать там трехнедельные учебные курсы истории. Когда я услышал слово "Красногорск", я сразу показал своим видом отказ. Я был успокоен, только когда комиссар объяснил мне, что речь идёт здесь не об известной школе АНТИФА – это могло быть решено давно,- но он увидел у меня интерес к истории, а в Красногорске меня

ожидал лишь учебный курс австрийской и русской истории. То, что он не говорил всей правды, я должен был понять неделями позже. С одной стороны, предложение было заманчиво для меня, с другой стороны, я не хотел иметь какого-то особого положения и покидать свою бригаду. Я медлил долго. Комиссар хотел предоставить мне время на размышление, однако, я не видел никакого решения. Поэтому я хотел знать мнение Вилли, старшины моего барака, но не мог решиться. Я слышу еще его речь: „Человек, ты не можешь быть настолько глуп - подходи и баста!“. Следующим утром он сказал мне то, что я не хотел говорить перед комиссаром: „Красногорск имеет дурную славу, но я не думаю, что тебя хотят повернуть. Если это действительно только учебный курс истории, то я тоже бы согласился. Изменение состояния воздуха принесет тебе пользу; асбестовая мельница только разрушит тебя!“. Вместе с тем последствия выбора «мягкого места» были прозрачны для меня. Отделение от группы австрийцев и от моей бригады лежало тормозом перед моим решением.

В конце августа комиссар лагеря вызывал меня к себе, и из перевода я узнал: через три дня я покину трудовой лагерь; русское управление лагеря получило уже указание доставить меня в Красногорск, и я заранее записан на учебный курс. Таким образом, кубики упали, и он благожелательно поздравил меня. Неожиданно он дал понять переводчице, что она может покинуть помещение. Долго он смотрел на меня вопросительно и обдумывал что-то, улыбаясь, зажег и медленно поджег папиросу, и затем, я не поверил своим ушам, он обратился ко мне на венском диалекте. Я был крайне озадачен, ибо этого ожидал меньше всего. Всегда он пользовался переводом красивой Scheuschschina (=дивчины), и делал так, как будто бы он не понял ни одного немецкого слова. Я не мог скрыть своё удивление. Это была его личная тактика допроса - и я сказал ему это прямо. Смех звучал человечно и резко контрастировал с его форменной одеждой НКВД. Он рассказал фрагменты из своей жизни. Да, он - настоящий житель Вены, принадлежал к Республиканскому Союзу Защиты, после февральской борьбы в 1934 году он убежал с другими в Чехословакию, оттуда в Москву, где был принят как герой; провел несколько прекрасных недель на полуострове Крым, но внезапно австрийские эмигранты были забыты; он посещал инженерную школу в Запорожье, учил русский язык и был направлен добровольно, как боец Ротфронта, в Испанию. Позже ему удалось бегство через Пиренеи в южную Францию, где он находился два месяца в сборном лагере, до тех пор, пока его не возвратили в Советский Союз. В Днепропетровске он был арестован, без причины помещен на север, еще европейской России, в исправительно-трудовой лагерь Печора. Летом 1941г его помиловали, дали короткое армейское образование и выбросили с парашютом в районе Смоленска; затем он присоединился к группе партизан и был отправлен к политическому комиссару - одновременно он действовал как переводчик. После крушения среднего фронта его из партизанской области вывезли на самолете, и он был назначен комиссаром лагеря в Асбест. Это было полезно - слушать его. Я хранил мысли о его судьбе в себе. Только после описания жизни назвал он себя полностью, звали его Германом А., происходил из района Вены - Зиммеринг. Прошёл обучение профессии слесарь по ремонту машин.

То, что я слышал далее, касалось только меня. При этом он подчеркнул мой последовательный отказ стать осведомителем, мое осуждение в городе Асбесте; он говорил о вето, которое он наложил на меня; он порицал мое упрямство, считал, что мне нужно учиться приспособливаться, не бросаться в глаза. Он называл "иерархию лагеря" купленным сбродом, который можно отодвигать и пододвигать как шахматные фигуры. Когда я сильно заболел, он дал Doktorscha (докторше) строгое указание предпринять все, чтобы спасти меня.

В конце он убедительно предостерег: „Не решайтесь брать какие-нибудь записки из лагеря; это не имеет смысла, я должен буду наказать Вас очень жестко!“. Так, между прочим, он дал мне указание: „То, что Вы имеете в голове, никто не может отнять у Вас. И не говорите никому в лагере, что я беседовал с Вами по-венски!“. Затем он подал мне

руку, пожатие было твердым, и сказал: „Вы верите в Бога, поэтому вручаю Вас Богу! Я желаю Вам, чтобы Вы прибыли домой с хорошим здоровьем - и если это произойдет, поприветствуете за меня мою Вену! Я не увижу её больше никогда!“. В тот момент прощания я извинился перед ним мысленно и взял обратно все, что думал о нем злого и говорил.

Вилли узнал от меня все, однако не то, что комиссар является, собственно, его, земляком. Я просил его, чтобы он выписал мне 15 адресов из похоронной картотеки; я хотел выучить их наизусть и записать во время моей транспортировки. Вилли дал мне лист бумаги из асбестового мешка и самодельный карандаш.

Я использовал последние два дня, чтобы попрощаться с украинцем. Со слезами на глазах говорил он снова и снова: „Kudaidjosch! Njetdo swidanija, товарищ! " (Куда идешь! Не до свидания, камрад!). При этом он высоко поднял меня, поцеловал в обе щеки, совсем русским способом, и быстро повернулся. Прощание с моей бригадой, прежде всего со "стариками", очень тяжело далось мне; Вилли проинструктировал их, поэтому я должен был говорить немного, так как извинение, что я покидаю их, лежало у меня ближе, чем оправдание моего решения.

Даже старшина лагеря стремился ко мне, но я не видел, поистине, причину попрощаться с ним, поэтому я игнорировал вызов. Да, а затем я стоял утром (все бригады уже были отправлены), перед комендатурой. Вышел Deschurnyi-Ofizer (дежурный офицер). Все предметы одежды выворачивали два конвойных солдата, обыскали меня сверху донизу, и когда он увидел, как мое нижнее белье и моя телогрейка были грязны, скомандовал " Dawai - приказ". Я получил лучшие вещи, смог сохранить бумагу и карандаш, и - какое чудо! - обрёл также пару ботинок на шнуровке. Он не делал это определенно из любви к ближнему, я угадывал комиссара за этим, так как все шло само по себе слишком хорошо подготовлено. Так я стоял перед открытой, маленькой дверью ворот лагеря, еще не решался шагнуть наружу, смотрел вверх на наблюдательную вышку, на Лагерштрассе и видел, что Вилли стоит, что он кивает мне. Мне хотелось бежать, обнять его еще раз! То, что я чувствовал, было смесью из грусти, неуверенности и прощания. Не думайте, что я чувствовал радость; я не был вовсе способен к таким эмоциям! Затем дверь закрылась за мной - как падает театральная занавес.

Перед баракон конвоя кто-то ещё ждал меня, это была Doktorscha. Я смог только сказать: „Spasibo, spasibo! (спасибо, спасибо)", в то время как она взяла обеими руками мою руку и говорила еврейское слово, которое я не понимал. Конечно, слово добра и счастья! Конвойный солдат, который был приставлен ко мне, получил ряд указаний; но он только ухмылялся и говорил „Choroscho! (хорошо!)".

На пути к вокзалу, мимо главного лагеря и затем вдоль песчаной улицы в направлении вокзала, я часто поворачивался в сторону лагеря VIII.

Перевод с немецкого Сухарева Ю.М.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1].Seppel или SeppI - 1. Шляпы с перьями или волосяными щётками 2. Традиционная фигура из классического кукольного ансамбля.

[2]. Здесь речь идет, очевидно, о строительстве т.н. «нового» ремонтно - механического завода, который был введен в работу в 1946 г. «Старый» РМЗ фигурирует в воспоминаниях пленных, как «мех-завод».

[3]. (нем. Ferdinand Schörner, 12 июня 1892 — 2 июля 1973) — генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха. Единственный, кто дослужился в германской армии до высшего воинского звания — генерал-фельдмаршал, начав службу рядовым солдатом. Кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями, Мечами и Бриллиантами. После окружения Берлина, за несколько дней до его падения, исполняя приказ Гитлера, начал отвод войск в район Праги с намерением превратить город во «второй Берлин». 7 мая, после того, как войска ГА «Центр» были почти окружены к востоку от Праги, отдал приказ отступать на запад. 15 мая 1945 года взят в плен американскими войсками и в конце мая 1945 передан советскому командованию. Содержался в Бутырской, Лефортовской и Владимирской тюрьмах. 11 февраля 1952 года приговорён к 25

годам заключения в советских лагерях. 7 января 1955 года был отпущен в ФРГ. В 1957 году мюнхенским судом был приговорён к 4,5 годам лишения свободы за вынесенные Шёрнером расстрельные приговоры подчинённым ему немецким солдатам за трусость и другие прегрешения.

Наличие в г. Асбест офицерского лагеря военнопленных не подтверждается объективными данными.

[4]. Здесь автор (Ф.К.), видимо, путает цифры. Нормы питания военнопленных в период с 5 апреля 1943 г. по 1947г изменялись по калорийности от 1839 до 3200 калорий в сутки (основной паёк). Например, в конце 1946 г., в связи с продовольственной ситуацией в стране, суточный рацион военнопленного был снижен с 3200 до 2368 калорий. Это все устанавливалось приказами и другими нормативными актами НКВД. Автор сообщает о калорийности суточного рациона от 800 до 1200 калорий. Если и предположить, что фактическое питание было таким скудным, то администрация лагеря не стала бы это афишировать перед пленными, так как приведенные цифры в два – три раза меньше установленных НКВД норм. Подробнее см. Сидоров С.Г. Организация питания военнопленных в СССР в 1941 - 1955 гг. Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Философия Вып. 1, 1996

[5]. Ошибка Ф.К. Приказом НКВД СССР № 002597 от 28 ноября 1942 г был организован лагерь для военнопленных в г. Асбесте на 3000 человек. Номер 84 Асбестовскому лагерю был присвоен в 1943 году (ранее по этим номером числился Монетно-Лосиновский лагерь).

[6]. Из перечисленных Ф.К. населенных пунктов Perwoumaisk (Первомайск) вызывает сомнение, как место размещения известного лагеря военнопленных. В Свердловской области несколько поселков с таким именем. Лишь в одном из них, в Березовском районе, фиксировалось размещение иностранного контингента, а именно интернированных. Woikowo (Войково) попало в список, видимо, ошибочно. Под таким названием известен генеральский лагерь в Центральной России (отделение №12 Лежнёво-Войково лагеря №324 Ивановской области).

[7]. Цифры автором завышены. В г Асбесте, кроме военнопленных лагеря 84 (максимальная численность на 20.02.1945г 17716 человек, вместе с «иногородними» площадками), находилось также спецпоселение советских немцев-репатриантов) численностью до 7000 человек, а также ИТК (с 1950г – ИТЛ), численностью от 1100 человек в 1941г до 7 644 в 1952г. Присутствовавшие другие категории (например, раскулаченные трудопоселенцы, «выселенные из Крыма») были в Асбесте малочисленны. В период с 1945 по 1950гг одновременно все контингенты (включая военнопленных) имели суммарную численность в г.Асбесте около 20 тысяч. Советские «зэки», своей численностью замещали выбывающих на родину иностранцев.

[8]. Данные, приведенные Ф.К., очевидно завышены (см. прим.9), хотя смертность зимой 1944-45 гг была высокой, что отмечалось в документах НКВД. В лагере (на 20.02.45г) находилось 17716 пленных. В январе умерло 553 человека, за 20 дней февраля – 318 человек. После принятых мер смертность снизилась. Следует учесть, что в общую численность контингента и его смертности входили лаготделения, находящиеся за пределами г Асбеста (г.Сухой Лог, г.Полевской пос. Зюзельский, Белоярский р-н с.Некрасово)

[9]. Могли умереть, но не умерли. Всего имеются данные о 1978 захороненных в Асбесте воинах вражеских армий. Это без умерших военных преступников, которых в городе захоронено 46 человек. Данные вероятно не полные, потому что в 1942 учет был налажен плохо, но и количество пленных в Асбесте было в то время не большим (штатная численность 3000 человек).

[10]. Присутствие в военном - послевоенном Асбесте контингента, высланного с территорий, попавших под гитлеровскую оккупацию, за пособничество врагу – крайне сомнительно и не подтверждается исследованиями

Пособники оккупантов числились на учете НКВД, как «власовцы». В 1946-1947 гг. в СССР на спецпоселение поступило 148079 "власовцев" (до этого они содержались в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД). Нет никаких данных о присутствии спецпоселенцев этого рода в г.Асбесте. Этим лицам было объявлено, что они заслуживают самого сурового наказания, но в связи с победой над Германией Советское правительство проявило к ним снисхождение, освободив от уголовной ответственности за измену Родине, и ограничилось отправкой на спецпоселение сроком на 6 лет. Помимо служивших (как правило, рядовыми) в армиях фашистской Германии и ее союзников, изменнических воинских формированиях, полиции, органах оккупационной администрации и т.д. в контингент "власовцы" была включена часть побывавших в фашистском плену советских офицеров, которым за сам факт попадания живыми в плен было установлено наказание в виде спецпоселения. Родные и близкие, добровольно прибывшие в места высылки для совместного проживания с "власовцами", на учет спецпоселений не ставились.

Высылке семьями во время войны подвергались репрессированные народы. Из их числа в Асбесте были размещены советские немцы, репатрированные из Польши и Германии, где они оказались в конце войны. Срок ссылки им не был установлен.

[11]. Речь, видимо, идет о генерал-майоре Готфриде фон Эрдманнсдорфе (Gottfried von Erdmannsdorff) (1893-1946), коменданте Могилева, взятом в плен в 1944г и повешенном по приговору советского суда, в 1946г.

[12]. Речь идёт о Теодоре Пливьере (Theodor Plievier) Theodor Otto Richard Plievier (до 1933г: Plivier) Родился 12.02. 1892г в Берлине. Умер 12.03. 1955г в Авегно, Швейцария. Известный немецкий писатель, автор

романа-трилогии «Stalingrad» (1945), «Moscow» (1952) и «Berlin» (1954). Придерживался левых взглядов. После 1933г – в эмиграции, во время войны – в СССР. Член организации «Свободная Германия», функционировавшей в СССР. С 1945г – в советской оккупационной зоне, работал в Культурном союзе демократического обновления Германии. В 1948г он порывает с догматическим коммунизмом, переходит в британскую зону и остается на Западе.

Роман «Сталинград» - первая книга, в которой немецкий народ узнал о трагедии 6-ой армии. Она была переведена на 14 языков мира. Роман был экранизирован, была и театральная постановка. При написании книги Пливьер опрашивал участников битвы, находившихся в советских лагерях, в том числе и Асбесте.

[13]. Эрнст Фишер (нем. Ernst Fischer, 3 июля 1899, Комотау, Богемия — 31 июля 1972, Дойчфайстриц, Штирия) — австрийский левый политический деятель (член СДПА, а затем — КПА), министр информации в послевоенном правительстве Реннера, марксистский теоретик. В 1920-1934 член Социал-демократической партии Австрии; с 1934 член компартии Австрии. С 1934 в эмиграции, в 1939-45 жил в СССР, сотрудничал на радио и в печати (псевдоним Петер Виден). Автор нескольких художественных произведений. Выступал с публицистическими, историко-политическими, антифашистскими, а также литературоведческими и искусствоведческими статьями (сборник «Искусство и человечность», 1949; «От Грильпарцера до Кафки», 1962). С середины 60-х гг. («Искусство и сосуществование», 1966, и др.) стал активным пропагандистом ревизионизма. В 1969 исключен из КПА. Скатился на позиции антикоммунизма и антисоветизма.

[14]. Речь идёт о Вартегау. Это территория польских округов Познань (Posen), Иновроцлав (Hohensalza) и Лодзь (Litzmannstadt) (в скобках – германизированные названия.-Ю.С.), включенная в ходе Второй мировой войны, после оккупации Польши в сентябре 1939, в состав Германской империи как «Имперский край Вартегау» (Reichsgau Wartheland). Предназначалась для «германизации», т.е. удаления польского, еврейского и др. населения и заселения территории «арийским» населением. Центр Вартегау находился в городе Лодзь. Во главе администрации «Имперского края» стоял гаулейтер А. Гейзер (1897- 1946 казнен).

[15]. Предположение Ф.К., о том, что здание, где находился карцер, принадлежало монастырю – ошибочно. В Асбесте, со времени его основания, не было монастыря.

[16]. Речь идёт об армейском начальнике Ф.К.

[17]. Действительно, наличие на территории Свердловской области женщин-военнопленных другими источниками не подтверждается. Но здесь присутствовали женщины-немки из категории «интернированные из стран Восточной Европы», т.е. гражданские лица немецкой национальности, вывезенные для работы в СССР.

[18]. Dollfußmord – так называют один из временных отрезков в истории Австрии, после 1934г. Дословно - «косолопое убийство».

Примечания переводчика